

Владимир  
Набоков

П

CoRpus



Письма к Вере

Набоковский корпус

Владимир Набоков

**Письма к Вере**

«Издательство АСТ»

2014

УДК 821.111-6(73)

ББК 83.3(7Сое)-8

## **Набоков В. В.**

Письма к Вере / В. В. Набоков — «Издательство АСТ»,  
2014 — (Набоковский корпус)

ISBN 978-5-17-137843-1

Владимир и Вера Набоковы прожили вместе свыше пятидесяти лет – в литературном мире это удивительный пример счастливого брака. Они редко расставались надолго, и все же в их архиве сохранилось более трехсот писем и записок Набокова, с 1923 по 1975 год. Один из лучших писателей XX века, блестящий, ироничный и взыскательный Набоков предстает в этой книге нежным и заботливым мужем. «...Мы с тобой совсем особенные; таких чудес, какие знаем мы, никто не знает, и никто так не любит, как мы», – писал он в 1924 году. Вера Евсеевна была его первым читателем, его машинисткой и секретарем, а после смерти писателя переводила его английские произведения и оберегала его обширное наследие. Собранные в настоящем издании письма рисуют детальный портрет молодого Набокова: его ближайшее окружение и знакомства, литературные замыслы и круг чтения, его досуг, бытовые привычки, воспоминания о России и Кембридже, планы на будущее и т. д. В письмах более поздних лет неизменными остаются его любовь и восхищение женой, разделившей с ним и нелегкие испытания, и всемирную славу.

УДК 821.111-6(73)

ББК 83.3(7Сое)-8

ISBN 978-5-17-137843-1

© Набоков В. В., 2014  
© Издательство АСТ, 2014

## Содержание

Хронология	9
Брайан Бойд	13
I	13
II	25
III	32
Письма к Вере	35
1. Ок. 26 июля 1923 г.	35
2. 8 ноября 1923 г.	38
3. 30 декабря 1923 г.	41
4. 31 (?) декабря 1923 г.	42
5. 8 января 1924 г.	44
6. 10 января 1924 г.	46
7. 12 января 1924 г.	48
8. Не позднее 14 января 1924 г.	50
9. 16 января 1924 г.	51
10. 17 января 1924 г.	53
11. 24 января 1924 г.	54
12. 13 августа 1924 г.	56
13. 17 августа 1924 г.	57
14. 18 августа 1924 г.	58
15. 24 августа 1924 г.	59
16. 19 января 1925 г.	61
17. Приблизительно март – апрель 1925 г.	62
18. 14 июня 1925 г.	63
19. 19 августа 1925 г.	64
20. 27 августа 1925 г.	65
21. 28 августа 1925 г.	66
22. 29 августа 1925 г.	67
23. 30 августа 1925 г.	68
24. 31 августа 1925 г.	69
25. 31 августа 1925 г.	70
Конец ознакомительного фрагмента.	71

# Владимир Набоков

## Письма к Вере

Copyright © 2014, Dmitri Nabokov

All rights reserved

© The Vladimir Nabokov Literary Foundation, Inc., предисловие и комментарии, 2014

© Penguin Books LTD, фотографии

© Philippe Halsman/Magnum Photos/East News, фотография на обложке

© А. Глебовская, перевод предисловия, постскриптума и комментариев, 2017

© Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Издательство CORPUS ®

\* \* \*

Н

# Владимир Набоков Письма к Вере

*Вступительная статья*  
Брайана Бойда

*Комментарии*  
Ольги Ворониной и Брайана Бойда



издательство аст  
Москва

## Хронология

*Настоящая хронология предназначена для удобства соотнесения публикуемых писем с событиями в жизни Набоковых. В ней приведены только 1) основные даты жизни В. В. Набокова и его близких родственников; 2) даты выхода в свет набоковских романов и автобиографий; 3) те периоды разлук, в которые В. В. Набоков отправлял жене более одного письма.*

**1870** Родился Владимир Дмитриевич Набоков.

**1876** Родилась Елена Ивановна Рукавишникова.

**1897** Венчание В. Д. Набокова и Е. И. Рукавишниковой.

**1899, 23 апреля** Родился Владимир Владимирович Набоков.

**1900** Родился Сергей Владимирович Набоков.

**1902, 5 января** Родилась Вера Евсеевна Слоним.

**1903** Родилась Ольга Владимировна Набокова (в замужестве Шаховская, затем Петкевич).

**1906** Родилась Елена Владимировна Набокова (в замужестве Скуляри, затем Сикорская).

**1911** Родился Кирилл Владимирович Набоков.

**1917** Февральская и Октябрьская революции; в конце года Набоковы покинули Петроград и уехали в Крым.

**1919, апрель** Набоковы перебираются в Грецию, а в мае поселяются в Лондоне.

**1919, октябрь** В. В. Набоков поступает в Тринити-колледж в Кембридже, С. В. Набоков – в Оксфорд.

**1920** В. Д. Набоков перевозит жену и младших детей в центр русской эмиграции, Берлин, где становится одним из основателей и главным редактором либеральной русскоязычной газеты «Руль».

**1921** В. В. Набоков, с 1916 г. публиковавшийся под своим именем, берет псевдоним В(ладимир) Сирин.

**1922, 28 марта** В. Д. Набоков убит в Берлине русскими эмигрантами-монархистами.

**1922, июнь** В. В. Набоков оканчивает Кембрижский университет и переезжает к родным в Берлин.

**1923, 9 января** Помолвка В. В. Набокова со Светланой Зиверт расторгнута по настоянию ее семьи.

**1923, 8 мая** В. В. Набоков знакомится с В. Е. Слоним на эмигрантском благотворительном балу в Берлине.

**1923, май** В. В. Набоков уезжает на юг Франции и нанимается рабочим на ферму в Солье-Пон в Варе.

**1923, ок. 18 августа** Возвращение в Берлин. В сентябре В. В. Набоков начинает встречаться с В. Е. Слоним.

**1923, ок. 29 декабря** Семья Набоковых переезжает в Прагу; В. В. Набоков сопровождает родных и помогает им обосноваться на новом месте.

**1924, 27 января** В. В. Набоков возвращается в Берлин.

**1924, 12–28 августа** В. В. Набоков гостит у матери в Праге и Добржиховице, Чехословакия.

**1925, 15 апреля** В. В. Набоков женится на В. Е. Слоним в Берлине.

**1925, ок. 16 августа** В. В. Набоков сопровождает ученика Александра (Шуру) Зака на приморский курорт в Померании и в походе по югу Германии.

**1925, 4 сентября** В. Е. Набокова присоединяется к мужу и А. Заку в Констанце.

**1926, 1 июня – ок. 21 июля** В. Е. Набокова уезжает в шварцвальдский санаторий для лечения от депрессии, тревожности и потери веса.

**1926** Выходит в свет роман «Машенька».

**1926, 22–26 декабря** В. В. Набоков гостит у родных в Праге.

**1928** Выходит в свет роман «Король, дама, валет».

**1929** Публикация романа «Защита Лужина» в журнале «Современные записки».

**1930, 12–25 мая** В. В. Набоков навещает родных в Праге, где выступает с чтением своих произведений.

**1930** Публикация романа «Соглядатай» в журнале «Современные записки».

**1931** Публикация романа «Подвиг» в журнале «Современные записки».

**1932, ок. 3–20 апреля** В. В. Набоков гостит у родных в Праге.

**1932, май** Публикация романа «Камера обскура» в журнале «Современные записки».

**1932, октябрь** В. В. Набоков с женой, двоюродным братом Николаем Набоковым и его женой Натальей две недели проводит в Кольбсхайме под Страсбургом; В. Е. Набокова возвращается в Берлин 13 октября; В. В. Набоков 18 октября уезжает в Париж (который к тому времени стал новым центром русской эмиграции) для участия в русских и французских литературных вечерах, подписания договоров, установления деловых контактов; возвращается через Бельгию.

**1932, ок. 28 ноября** Возвращение В. В. Набокова в Берлин.

**1934** Публикация романа «Отчаяние» в журнале «Современные записки».

**1934, 10 мая** Родился Дмитрий Владимирович Набоков.

**1935** Начало публикации романа «Приглашение на казнь» в журнале «Современные записки».

**1936, 21 января – 29 февраля** В. В. Набоков уезжает в Брюссель и (29 января) в Париж, где выступает с чтением своих произведений и завязывает деловые контакты.

**1936, ок. 9 – ок. 22 июня** В. Е. Набокова, ее кузина А. Л. Фейгина и Дмитрий уезжают на отдых в Лейпциг, где живут их родственники.

**1937, 18 января** После назначения приказом Гитлера одного из убийц В. Д. Набокова, Сергея Таборицкого, заместителем директора департамента по делам русской эмиграции В. В. Набоков уезжает из Германии по настоянию жены. Он направляется в Брюссель, а потом (22 января) в Париж, где проводит литературные вечера и начинает готовить переезд семьи во Францию.

**1937, февраль** В Париже у В. В. Набокова начинается роман с И. Ю. Гуаданини.

**1937, ок. 17 февраля** В. В. Набоков едет в Лондон для участия в литературных вечерах, подписания договоров, установления деловых контактов и поиска работы.

**1937, 1 марта** В. В. Набоков возвращается в Париж.

**1937, апрель** Начало публикации романа «Дар» в журнале «Современные записки».

**1937, 6 мая** В. Е. и Дмитрию Набоковым удается покинуть Германию и приехать к Е. И. Набоковой в Прагу.

**1937, 22 мая** В. В. Набоков приезжает к родным в Прагу; оттуда с женой и сыном едет во Франценсбад в Чехословакии (теперь Франтишковы Лазне в Чехии).

**1937, 17 июня** В. В. Набоков едет в Прагу, чтобы выступить с литературными чтениями и устроить переезд жены и сына из Чехословакии во Францию.

**1937, 23 июня** В. В. Набоков воссоединяется с семьей в Мариенбаде (теперь Марианске Лазне); 30 июня Набоковы едут в Париж.

**1937, июль** Набоковы обосновываются во Франции, в Каннах; В. В. Набоков признается в своей связи с И. Ю. Гуаданини, но решает остаться с женой.

**1937, ок. 9 сентября** И. Ю. Гуаданини приезжает в Канны вопреки желанию В. В. Набокова; происходит окончательный разрыв их отношений.

**1937, октябрь** Набоковы переезжают в Ментону.

**1938, июль** Переезд в Мулине, неподалеку от Ментоны. В. В. Набоков ловит бабочку, которую назовет *Lysandra cormion*.

**1938, август** Набоковы поселяются в Кап д'Антиб во Франции.

**1938, октябрь** Переезд в Париж.

**1939, 2–23 апреля** В. В. Набоков едет в Лондон для проведения литературных чтений на русском и английском языках, подписания договоров и поисков места преподавателя в университете или частной школе.

**1939, 2 мая** Смерть Е. И. Набоковой в Праге.

**1939, 31 мая – 14 июня** В. В. Набоков едет в Лондон, где продолжает поиски должности преподавателя и литературных заработков.

**1940, 28 мая** После многомесячных попыток выбраться из Франции Набоковы покидают Сан-Назер на пароходе «Шамплен». По прибытии в США они обосновываются в Нью-Йорке.

**1941, 15 марта – 2 апреля** В. В. Набоков читает лекции в колледже Уэлсли в штате Массачусетс.

**1941, сентябрь** Годичное назначение на должность преподавателя литературы в Уэлсли, куда вся семья и переезжает; В. В. Набоков начинает работать безвозмездно в Гарвардском музее сравнительной зоологии.

**1941** Публикация романа «Истинная жизнь Себастьяна Найта» («The Real Life of Sebastian Knight»).

**1942, сентябрь** Набоковы переезжают в Кембридж, штат Массачусетс. В. В. Набоков подписывает годичные контракты на преподавание русского языка в Уэлсли и на работу исследователем-лепидоптерологом в Гарвардском Музее сравнительной зоологии.

**1942, 30 сентября – 12 декабря** Лекционное турне В. В. Набокова: в октябре он выступает на юге США, в ноябре – на Среднем Западе, в декабре – в Фармвилле, штат Вирджиния.

**1944, 1–15 июня** В. Е. Набокова везет сына Дмитрия в Нью-Йорк, где ему удаляют аппендикс.

**1945, ок. 8 – 11 февраля** В. В. Набоков читает лекцию в Балтиморе.

**1947** Выходит в свет роман «Под знаком незаконнорожденных» («Bend Sinister»).

**1948, январь** В. В. Набоков начинает публиковать главы из автобиографии в журнале «Нью-Йоркер».

**1948** В. В. Набоков получает должность профессора русской литературы в Корнеллском университете, штат Нью-Йорк.

**1951** В США выходит первый вариант автобиографии под названием «Убедительное доказательство».

**1952** Роман «Дар» выходит в свет без купюр в нью-йоркском Издательстве имени Чехова.

**1954, ок. 16–22 апреля** В. В. Набоков читает лекции в городе Лоуренс, штат Канзас.

**1955** В парижском издательстве «Олимпия Пресс» выходит «Лолита» («Lolita»).

**1957** Публикация романа «Пнин» («Pnin»).

**1958** Публикация «Лолиты» в США и других странах.

**1959** Успех «Лолиты» позволяет В. В. Набокову уволиться из Корнеллского университета; Набоковы переезжают в Европу.

**1961** В. В. и В. Е. Набоковы поселяются в отеле «Монтрё-Палас» в швейцарском Монтрё.

**1962** Публикация романа «Бледный огонь» («Pale Fire»).

**1969** Выход в свет романа «Ада, или Отрада» («Ada or Ardor»).

**1970, 4 апреля** В. В. Набоков уезжает на отдых в Таормину на Сицилии.

**1970, ок. 14 апреля** В. Е. Набокова присоединяется к мужу в Таормине.

**1972** Публикация романа «Сквозняк из прошлого» («Transparent Things»).

**1974** Публикация романа «Взгляни на арлекинов!» («Look at the Harlequins!»).

**1977, 2 июля** Смерть В. В. Набокова в больнице в Лозанне после двухлетней болезни.

**1991, 7 апреля** В. Е. Набокова умирает в больнице в Веве, Швейцария.

**2012, 22 февраля** Смерть Д. В. Набокова.

## Брайан Бойд Конверты для «Писем к Вере»

*Вчера я видел тебя во сне – будто я играл на рояли, а ты  
переворачивала мне ноты...  
Из письма В. В. Набокова  
от 12 января 1924 г.*

### I

Ни один из крупных писателей XX века не прожил столько лет в одном браке, сколько прожил Владимир Набоков, и не много найдется изображений, столь наглядно запечатлевших эту многолетнюю семейную идиллию, как запечатлела ее фотография 1968 года, сделанная Филиппом Халсманом: Вера Евсеевна приютилась под правой рукой мужа и смотрит ему в глаза с неизменным обожанием.

Первое посвященное Вере стихотворение Набоков написал всего через несколько часов после их знакомства в 1923 году, а в 1976-м, спустя более чем полвека, он посвятил ей свою последнюю, изданную при жизни, книгу. В заключительной главе первого посвященного жене произведения – опубликованной в 1951 году автобиографии – автор обращается к неназванной собеседнице: «Годы гаснут, мой друг, и, когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я»<sup>1</sup>. Эти чувства предвосхищает письмо, написанное почти через год после начала их отношений: «...мы с тобой совсем особенные; таких чудес, какие знаем мы, никто не знает, и никто *так* не любит, как мы»<sup>2</sup>.

Впоследствии Набоков назовет свою семейную жизнь «безоблачной»<sup>3</sup>. Почти так же он охарактеризует ее в письме к Ирине Гуаданини<sup>4</sup>, с которой у него случится пылкий роман. Год этой связи стал самым мрачным и болезненным в жизни Набоковых, но письма свидетельствуют, что он был исключением. Впрочем, хотя в ранних посланиях Набокова по большей части сияет или проблескивает солнце молодой любви, и эту переписку омрачают заботы: болезни Веры Евсеевны и Елены Ивановны Набоковых, постоянная нехватка денег, нелюбовь к Германии, а также изматывающие поиски убежища для семьи во Франции, Англии и Америке после прихода к власти Гитлера, поставившего под вопрос само существование русской эмигрантской общины, в которой Набоков быстро стал знаменитостью, хотя и продолжал жить очень стесненно.

Но сначала Вера Слоним познакомилась с Владимиром Сириным – этот псевдоним Набоков взял в январе 1921 года, чтобы его не путали с отцом, тоже Владимиром Набоковым, основателем и главным редактором русской эмигрантской газеты «Руль» в Берлине – городе, который в 1920 году стал центром притяжения для русских эмигрантов, покинувших родину после революции. Набоков-младший начал публиковаться еще в 1916 году в Петрограде, за два

---

<sup>1</sup> *Conclusive Evidence: A Memoir* (N.Y.: Harper and Brothers, 1951); в новой редакции: *Nabokov V. Speak, Memory: An Autobiography Revisited*. N.Y.: Vintage, 1967. P. 295 (Цит. по: *Набоков В. Другие берега*. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 302). Набоков впоследствии утверждал, что первое англоязычное название автобиографии «Убедительное доказательство» («*Conclusive Evidence*») построено вокруг сочетания двух «v» в середине, обозначающих Владимира и Веру (*Dommergues P. Notes et Documents: Entretien avec Vladimir Nabokov // Les Langues modernes*. 1968. № 62 (январь – февраль). P. 92–102, 99).

<sup>2</sup> Письмо от 13 августа 1924 г.

<sup>3</sup> *Nabokov V. Strong Opinions*. N.Y.: McGraw-Hill, 1973. P. 145.

<sup>4</sup> Письмо Набокова к Ирине Гуаданини от 14 июня 1937 г., в котором говорится, что 14 лет его брака представляли собой «ясное счастье» (Коллекция Татьяны Морозовой).

года до окончания школы. Ко второму году жизни в эмиграции его стихи уже были признаны такими писателями старшего поколения, как Тэффи и Саша Черный.

В «Письмах к Вере» Владимир Владимирович и Вера Евсеевна часто раскрываются с незнакомой нам стороны. Их образы оказываются более привычными нам в 1950 году, в середине истории их любви, когда Набоков впервые посвящает свою книгу жене<sup>5</sup>. В 1958 году в США выходит «Лолита». В последующие годы там появляется множество переводов написанных прежде на русском произведений Набокова, равно как и его новых сочинений на английском – романов, стихов, киносценариев, научных статей и интервью, – и они тоже посвящены «То Véra». На гребне новообретенной славы писателя и его жену фотографируют вдвоем для бесконечных интервью, а истории о том, как Вера Евсеевна редактировала и перепечатывала сочинения мужа, водила машину, преподавала, вела его переписку и деловые переговоры, становятся частью набоковской легенды. При этом за вторую половину их совместной жизни, то есть с 1950 по 1977 год, написано всего лишь 5 % опубликованных здесь писем. Остальные 95 % относятся ко времени намного более сложному, чем последний набоковский «период», осененный мировой славой.

Евсей Лазаревич Слоним, его жена Слава Борисовна и их дочери Елена, Вера и Софья перенесли много злоключений в Восточной Европе после бегства из революционного Петрограда. Они обосновались в Берлине в начале 1921 года после долгих мытарств в Восточной Европе. Как рассказывала мне Вера Евсеевна, она еще до знакомства с Набоковым «прекрасно отдавала себе отчет», насколько он талантлив, «хотя и жила в нелитературных кругах, среди бывших офицеров»<sup>6</sup>. (Учитывая, что в Белой армии процветал антисемитизм, это был, пожалуй, несколько неожиданный выбор компании для молодой еврейки из России. Однако собственное мужество Веры Евсеевны, когда она и ее сестры бежали из России, обратило враждебно настроенного к ним белогвардейца в защитника; кроме того, она уверяла меня, что в Берлине было множество порядочных белых офицеров.)

Самые первые стихи Набокова, которые она вырезала из газет и журналов, относятся к ноябрю – декабрю 1921 года<sup>7</sup>: ей тогда было девятнадцать, а ему – двадцать один. Молодой Сирин, уже часто публикующийся в эмигрантских журналах и антологиях как поэт, автор рассказов, эссеист, рецензент и переводчик, всего через год поразит берлинскую эмиграцию своей работоспособностью<sup>8</sup>: в ноябре 1922-го у него выйдет перевод романа Ромена Роллана «Кола Брюньон» («Николка Персик»), в декабре 1922-го – 60-страничный поэтический сборник «Гроздь», в январе 1923-го – 180-страничный сборник стихов последних лет «Горный путь», а в марте 1923-го – перевод «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла («Аня в стране чудес»).

Привлекательную, сильную духом и влюбленную в литературу молодую женщину особенно интересовали романтические обертоны недавних стихов Сирина. 28 марта 1922 года погиб отец Владимира Набокова, и родители Светланы Зиверт дали согласие на его помолвку с этой жизнерадостной красавицей, несмотря на то что невеста была моложе жениха – семнадцать лет против его двадцати трех. Стихи, которые он писал Светлане в первый год знакомства, составили его поэтический сборник «Гроздь». Однако 9 января 1923 года ему объявили,

<sup>5</sup> Посвящение на книге, опубликованной в 1951 г., было сделано в 1950 г.

<sup>6</sup> Интервью В. Е. Набоковой Брайану Бойду 20 декабря 1981 г.

<sup>7</sup> Так помечено в альбоме стихов Сирина, который В. Е. Набокова, судя по всему, начала собирать позднее, когда она стала его архивариусом, одновременно с другими альбомами его прозаических произведений и критических отзывов (Vladimir Nabokov Archive. Henry W. and Albert A. Berg Collection, New York Public Library. Далее – Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке).

<sup>8</sup> Тот факт, что двадцатитрехлетний автор смог незадолго до встречи с будущей женой опубликовать четыре книги за четыре месяца, ставит под сомнение такие, например, утверждения: «Адвокаты, издатели, родственники, друзья – все сходилось в едином мнении: “Без нее он ничего бы в жизни не достиг”» (*Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков): Биография / Пер. с англ. О. Кириченко. М.: КоЛибри, 2010. С. 13).*

что помолвка расторгнута: она слишком молода, а он, поэт, имеет недостаточно определенные виды на будущее.

Если после встречи Набокова со Светланой стихи лились, то после их расставания они хлынули бурным потоком. В следующие месяцы в эмигрантской прессе появился целый ряд стихотворений, посвященных любовной утрате. В марте Сирин опубликовал «Жемчуг»<sup>9</sup> («Посланный мудрейшим властелином / страстных мук изведать глубину <...> Я сошел в свою глухую муку, / я на дне. Но снизу, сквозь струи, / все же внемлю шелковому звуку / уносящейся твоей лады») и «В каком раю впервые прожурчали...»<sup>10</sup> («Вставали за разлуками разлуки, / и вновь я здесь, и вновь мелькнула ты, / и вновь я обречен извечной муке / твоей неуловимой красоты...»), а 6 мая в «Руле» вышло самое откровенное – «Бережно нес...»<sup>11</sup> («Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то / в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав, / скорбно разбилось на песни <...>»).

Однако стихотворение «Я Индией невидимой владею...»<sup>12</sup>, написанное в тот же день, что и «Бережно нес я...» и опубликованное 8 апреля, свидетельствовало о перемене в душе поэта. Поэт – повелитель воображения, он был готов начать все заново, предлагая вызвать из небытия все сокровища мира для новой царевны – пока остававшейся незримой. Скорее всего, «царевна» заметила и это обещание, и намек на окончание любовной драмы в другом, написанном в тот же день стихотворении. Как бы то ни было, 8 мая 1923 года, через два дня после публикации «Бережно нес я...», В. Е. Слоним явилась Владимиру Набокову незнакомкой в черной арлекиновой полумаске, которую отказалась снять. Сам Набоков впоследствии вспоминал, что они познакомились на эмигрантском благотворительном балу<sup>13</sup>. «Руль», печатавший подробную хронику событий русского Берлина, упоминает о единственном благотворительном бале, состоявшемся в ту пору, а именно 9 мая 1923 года. Тем не менее Набоковы всегда отмечали день первой встречи 8 мая. Когда я процитировал Вере Евсеевне рассказ мужа об их знакомстве – записи в его дневнике о том, что 8 мая для них особенный день, а потом сообщение в «Руле» о благотворительном бале 9 мая, она ответила: «Неужели вы думаете, что мы не знаем, в какой день познакомились?»

Но Вера Евсеевна умела скрывать истину. Много из того, «что знаем ты да я», нам неизвестно, и на эмигрантском благотворительном балу она обратила на себя внимание Владимира Сирина, однако не сняла маску. По мнению любимой сестры Набокова Елены Владимировны Сикорской, Вера скрыла лицо, чтобы ее изумительная, хотя и небеспримечная красота не отвлекла поэта от других ее уникальных достоинств<sup>14</sup> – отзывчивости к поэзии Сирина (она запоминала стихотворения после двух прочтений) и поразительной духовной созвучности его стихам. Они вместе вышли в ночной Берлин, гуляли по улицам, восхищались игрой света,

<sup>9</sup> Стихотворение написано 14 января 1923 г., опубликовано в альманахе «Медный всадник» (Берлин, [б. д.] С. 267; рекламировался в «Руле» 18 и 25 марта 1923 г.). Перепечатано: *Набоков В.* Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979. С. 76. Сестра Набокова Е. В. Сикорская, всегда внимательно следившая за литературной и личной жизнью брата, сообщила мне, что стихотворение посвящено Светлане.

<sup>10</sup> Написано 16 января 1923 г., опубликовано в альманахе «Медный всадник», как и «Через века» (с. 268). Е. В. Сикорская утверждает, что оно тоже адресовано Светлане.

<sup>11</sup> Написано 7 марта 1923 г. (Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 8. Р. 26), опубликовано как «Сердце» в цикле «Гексаметры» в «Руле» (1923. 6 мая. С. 2); перепечатано: *Набоков В.* Стихи. С. 94.

<sup>12</sup> Написано 7 марта 1923 г. (Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 8. Р. 27), опубликовано как «Властелин» в «Сегодня» (1923. 8 апреля. С. 5); перепечатано: *Набоков В.* Стихи. С. 125. В издании 1979 г. ошибочно датировано 7 декабря 1923 г.; в беловом автографе 1923 г. (Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 8) пометка к месяцу «III» сделана так, что ее можно прочитать как «XII», однако стихотворение идет вслед за другим, датированным «7–iii–23», а за ним следует датированное «19–iii–23».

<sup>13</sup> *Nabokov V.* Strong Opinions. P. 127; *Бойд Б.* Владимир Набоков. Русские годы / Пер. с англ. Г. Лапиной. СПб.: Симпозиум, 2010. С. 640, примеч. 37.

<sup>14</sup> Интервью Е. В. Сикорской Б. Бойду 24 декабря 1981 г.

листьев, теней. Через день или два<sup>15</sup> Набоков, как было запланировано, уехал на юг Франции работать на ферме, которой управлял один из коллег его отца по Крымскому временному правительству 1918–1919 годов. О поездке он условился заранее в надежде, что перемена обстановки облегчит скорбь по погибшему отцу и боль от разрыва со Светланой.

25 мая с фермы Домэн-де-Больё под Солье-Пон, близ Тулона, Набоков написал Светлане последнее, запретное, прощальное письмо<sup>16</sup>, полное страстных сожалений, «словно бы само расстояние, разделяющее их, давало ему на это право»<sup>17</sup>. Неделю спустя он посвятил новой возможности, открывшейся в его жизни, следующее стихотворение<sup>18</sup>:

## Встреча

*И странной близостью закованный...*

*А. Блок*

Тоска, и тайна, и услада...  
Как бы из зыбкой черноты  
медлительного маскарада  
на смутный мост явилась ты.

И ночь текла, иплыли молча  
в ее атласные струи  
той черной маски профиль волчий  
и губы нежные твои.

И под каштаны, вдоль канала,  
прошла ты, искоса маня;  
и что душа в тебе узнала,  
чем волновала ты меня?

Иль в нежности твоей минутной,  
в минутном повороте плеч  
переживал я очерк смутный  
других – неповторимых – встреч?

И романтическая жалость  
тебя, быть может, привела  
понять, какая задрожала  
стихи пронзившая стрела?

Я ничего не знаю. Странно

---

<sup>15</sup> В беловике альбома стихов Набокова (Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 8) часто появляется по несколько стихотворений в неделю, иногда – по стихотворению в день, однако с 7 мая по 19 августа 1923 г. в нем нет ни одной записи.

<sup>16</sup> Копии этого письма к Светлане сохранились в архивах Зинаиды Шаховской в Библиотеке Конгресса США и в Амхерстском центре русской культуры (Амхерстский колледж, США).

<sup>17</sup> Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. С. 247.

<sup>18</sup> Дата создания «Встречи» – 1 июня 1923 г. – взята из рукописи Набокова, сохранившейся в одном из альбомов, куда его мать вклеивала или переписывала его стихи (Album 9. С. 48–49). Опубликовано: Руль. 1923. 24 июня. С. 2; перепечатано: Набоков В. Стихи. С. 106–107. Эпиграф из стихотворения А. Блока «Незнакомка» (1906).

трепещет стих, и в нем – стрела...  
Быть может, необманной, жданной  
ты, безымянная, была?

Но недоплаканная горесть  
наш замутила звездный час.  
Вернулась в ночь двойная прорезь  
твоих – непросиявших – глаз...

Надолго ли? Навек? Далече  
брожу и вслушиваюсь я  
в движенье звезд над нашей встречей...  
И если ты – судьба моя...

Тоска, и тайна, и услада,  
и словно дальняя мольба...  
Еще душе скитаться надо.  
Но если ты – моя судьба...

Молодой поэт уже знал, что девушка, выбравшая столь странный способ знакомства, читает все его произведения. Он отправил новое стихотворение в «Руль», и 24 июня оно было опубликовано. В определенном смысле с него и начинаются письма Владимира Набокова к Вере Слоним. Внутри общедоступного текста заключен тайный призыв к тому единственному читателю, которому могло быть известно, какое прошлое описано в стихотворении и какое будущее оно предвосхищает.

Как Набоков отозвался на смелый отклик новой знакомой на сердечные терзания, вычитанные ею в недавних стихах Сирина, так Вера с присущей ей смелостью откликнулась на его поэтическое приглашение. В течение лета она отправила ему на юг Франции не менее трех писем. Эти письма не сохранились: всегда тщательным образом оберегавшая личную жизнь семьи, она уничтожила все свои послания к Набокову, которые смогла обнаружить. Поэтому нельзя сказать наверняка, стало ли ее первое письмо ответом на публикацию «Встречи» в «Руле». Однако вся логика их романтических отношений указывает именно на такое развитие событий. 8 мая она явилась ему в маске, и могла решить, что увлечение ею было мимолетным. Прочитав «Встречу» в «Руле» от 24 июня, Вера получила возможность убедиться: он хочет, чтобы она знала, какое произвела впечатление и какие затеплила надежды.

Если Вера Евсеевна отправила письмо Набокову почти сразу после прочтения «Встречи», то он, возможно, ответил на ее первое послание еще одним, сочиненным 7 июля стихотворением «Зной», где он намекает на желание, пробужденное в нем жаром южного лета<sup>19</sup>. Не отослав его в Берлин немедленно, Набоков получил от нее еще не менее двух писем и 26 июля сочинил стихотворение «Зовешь, – а в деревце гранатовом соенок...»<sup>20</sup>. После этого, всего за несколько дней до отъезда с фермы, он отправил ей свое первое письмо<sup>21</sup>, вложив в него

---

<sup>19</sup> Стихотворение (см. с. 45) пропитано не только полдненным зноем, но и жаром влечения. Никогда раньше не публиковавшееся, оно было адресовано одной-единственной читательнице. Набоков уже знал, что она умеет читать и понимать его поэзию, но вот сможет ли она почувствовать и разделить его желание?

<sup>20</sup> Впервые опубликовано: *Набоков В.* Стихи. С. 112.

<sup>21</sup> Письмо было написано около 26 июля 1923 г. или позднее. Стейси Шифф начинает свое жизнеописание В. Е. Набоковой именно с первых месяцев их знакомства, однако сразу же запутывается в фактах. Она верно указывает датировку письма Владимира к Светлане (25 мая), но потом допускает, имея в виду первое письмо к Вере: «А через два дня писал Вере Слоним. <...> Были ли его помыслы по-прежнему заняты Светланой? <...> Через сорок восемь часов после того, как он убеждал Светлану, что готов отправиться на другой континент, молодой поэт чувствует, что должен вернуться в Берлин, отчасти ради матери,

оба поэтических ответа («Вот тебе стихи»). Письмо начинается с приметной отрывистостью, без обращения («Не скрою: я так отвык от того, чтобы меня – ну, понимали, что ли, – так отвык, что в самые первые минуты нашей встречи мне казалось: это – шутка, маскарадный обман... А затем... И вот есть вещи, о которых трудно говорить – сотрешь прикосновением слова их изумительную пыльцу... Мне из дому пишут о таинственных цветах. Хорошая ты... И хороши, как светлые ночи, все твои письма...»). Набоков продолжает послание с уверенностью («Да, ты мне нужна, моя сказка. Ведь ты единственный человек, с которым я могу говорить – об оттенке облака, о пеньи мысли...») и, прежде чем предложить Вере Евсеевне свои стихотворения, заканчивает словами: «Таким образом, в Берлине я буду 10-го или 11-го... И если тебя не будет там, я приеду к тебе, – найду...»

Отсюда, то есть от первого письма Владимира Владимировича к Вере Евсеевне, и следует продвигаться вперед в хронологическом порядке, сопоставляя письма с их жизнью и любовью, с их миром, чтобы в конце пути разобраться, в чем же исключительность этой переписки и что она может нам сказать о Набокове – человеке и писателе.

В конце лета 1923 года Набоков нашел Веру Евсеевну в Берлине – она сняла маску, а вместе с ней отбросила все свои опасения. Как и другие бесприютные юные влюбленные, они ежедневно бродили вместе по вечерним улицам. Единственное письмо этого периода, датированное ноябрем 1923 года и отправленное из одного конца русского западного Берлина в другой, отражает интенсивность их раннего взаимопонимания, накал их первых разногласий.

В конце декабря 1923 года Набоков отправился с матерью, младшими братом и сестрами, Кириллом, Ольгой и Еленой, в Прагу. Там Елена Ивановна Набокова могла получать ежемесячное пособие как вдова русского ученого и писателя. В период этой ранней, продлившейся несколько недель разлуки Владимир писал о сосредоточенной работе над своим первым большим произведением – пятиактной пьесой в стихах «Трагедия господина Морна»<sup>22</sup>, о впечатлениях от Праги (глядя на замерзшую Влтаву: «...по белизне этой с одного берега на другой проходят черные силуэтики людей, похожие на нотные знаки: так, например, фигурка какого-нибудь мальчишки тянет за собой значок дизеля: санки»<sup>23</sup>) и о том, как страшно ему не видеть любимую чуть ли не целый месяц.

Они воссоединились в Берлине в конце января 1924 года и вскоре стали считать себя помолвленными. Когда в августе Набоков уехал, чтобы провести две недели с матерью в тихом местечке Добржиховице под Прагой, – первое свое письмо к невесте он начал так: «Моя прелестная, моя любовь, моя жизнь, я ничего не понимаю: как же это тебя нет со мной? Я так бесконечно привык к тебе, что чувствую себя теперь потерянным и пустым: без тебя – души

отчасти ради некоей тайны, которой “отчаянно хочется поделиться”» (Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков). С. 20–21). Однако в первом письме Владимира к Вере дата не указана; Шифф путает датировку стихотворения «Встреча» (май 1923 г.), неверно приведенную в набоковском посмертном сборнике избранных стихотворений 1979 г. (Набоков В. Стихи. С. 107; тогда как настоящая дата написания – 1 июня 1923 г., что следует из рукописи (Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 9. Р. 48–49)), с датой первого письма к Вере, не замечая того, что в письмо включено стихотворение «Зовешь...», написанное только 26 июля. В первом письме к Вере есть и другие указания на то, что оно не могло быть написано 27 мая 1923 г. Так, в него включено стихотворение «Зной», написанное 7 июня (список Елены Набоковой, см.: Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 9. Р. 54), и в нем есть отсылки к пьесам «Дедушка» и «Полюс», написанным 20 июня и 6-го и 8-го июля 1923 г. соответственно (см.: Руль. 1923. 14 октября. С. 6; 1924. 4 августа. С. 3). Шифф пытается сказать, что, хотя Набоков выражает свою вечную любовь в письме к Светлане, он уже два дня спустя пишет страстное послание к Вере. Но согласно фактам, последнее прощальное письмо к Зиверт он написал 25 мая, после чего, через неделю, сочинил стихотворение «Встреча» – отклик на знакомство с Верой тремя неделями ранее, – которое в опубликованном виде стало непосредственным призывом к ней. На этот призыв Вера ответила несколькими письмами. Набоков, в свою очередь, отозвался на них двумя стихотворениями и письмом, к которому они прилагались. Так что перед нами не перемена романтических чувств всего за два дня, как это выглядит у Шиффа, а два месяца призывов и откликов.

<sup>22</sup> В журнальном варианте «Трагедия господина Морна» была опубликована лишь в 1997 г. (Звезда. 1997. № 4), а в составе книги она вышла только в 2008 г. (Набоков В. Трагедия господина Морна. Пьесы, лекции о драме / Состав., предисл., коммент. А. Бабикова. СПб.: Азбука-классика, 2008).

<sup>23</sup> Письмо от 8 января 1924 г.

моей. Ты для меня превращаешь жизнь во что-то легкое, изумительное, радужное, – на все наводишь блеск счастья...»<sup>24</sup> Их свадьбу, которая состоялась в Берлине 15 апреля 1925 года, предвосхищает несколько столь же вдохновенных коротких записок. Вот, например, полный текст одной из них: «Я люблю тебя. Бесконечно и несказанно. Проснулся ночью и вот пишу это. Моя любовь, мое счастье»<sup>25</sup>.

Набоковы зарабатывали по большей части преподаванием английского языка. В конце августа 1925 года родители основного ученика, Александра Зака, пригласили Набокова за вознаграждение сопровождать подростка сначала на приморский курорт в Померании, а потом в настоящий пеший поход по Шварцвальду. Это путешествие Набоков запечатлел в коротких открыточных зарисовках, которые отсылались в Берлин, пока Вера Евсеевна не присоединилась к мужу в Констанце.

Жизнь несколько омрачилась летом 1926 года: Вера Набокова сильно похудела из-за тревожности и депрессии. Вместе с матерью она отправилась в санаторий в Шварцвальде, чтобы поправиться и набраться сил. Набоков остался в Берлине, где продолжал преподавать. Жена взяла с него обещание посылать ежедневные доклады – что ел, что надевал, что делал; он честно сдержал слово.

Другой столь подробной ежедневной хроники откликов Набокова на события внешнего мира не существует. Судя по всему, в перерыве между работой над первым («Машенька», 1925) и вторым («Король, дама, валет», конец 1927 – начало 1928 г.) романами жил он необременительно и солнечно: давал уроки, которые часто сводились к продолжительному загоранию, плаванию и развлечениям в Грюневальде, играл в теннис, читал, иногда писал; составил для друзей и литературного кружка Татариновых критический обзор новой советской литературы; сочинил стихотворение для Дня русской культуры; участвовал в театрализованном суде над убийцей из «Крейцеровой сонаты» Толстого – и сыграл в нем роль Позднышева, виртуозно ее переработав; быстро придумал и быстро написал рассказ; составил, опять же для кружка Татариновых, список того, что вызывает у него страданье, – «начиная от прикосновения к атласу и кончая невозможностью присвоить, проглотить все прекрасное в мире»<sup>26</sup>. Чтобы подбодрить Веру Евсеевну и убедить ее остаться в санатории, пока она не наберет то количество «фунтиков», которое могло бы показаться достаточным ему и ее отцу, Набоков, всегда отличавшийся любовью к игре, мучительно старался (отчего результат порой действительно кажется вымученным) забавлять и развлекать жену, повышая градус веселья по мере удлинения разлуки. Каждое письмо он начинал с нового обращения, поначалу употребляя имена игрушечных существ, которых они коллекционировали. Со временем эти прозвища становились все более странными: Козлик, Тюпка, Кустик, Мотыленок... Еще он сочинял для жены загадки, крестословицы, ребусы, лабиринты, головоломки, другие игры в слова, а под конец придумал крошечного сочинителя – «редактора отдела» загадок, Милейшего, который якобы вмешивался в то, что Набоков сам хотел написать.

Берлин стал центром притяжения для первой волны эмигрантов, покинувших Россию после октябрьского переворота. В 1920–1923 годах в городе насчитывалось около 400 тысяч русских, среди них множество представителей интеллигенции, в том числе творческой. Однако после небывалой инфляции 1923 года курс немецкой марки стабилизировался, и жизнь в Германии начала стремительно дорожать. К концу 1924 года многие эмигранты перебрались в Париж. Там они, в большинстве своем, и оставались, пока в Европе не разразилась Вторая мировая война.

---

<sup>24</sup> Письмо от 13 августа 1924 г.

<sup>25</sup> Письмо от 19 января 1925 г.

<sup>26</sup> Письмо от 19 июня 1926 г.

Набоков оставался в Берлине, потому что не хотел разбавлять свой русский язык французским – языком, которым, в отличие от немецкого, владел хорошо. К 1926 году набоковская «звездность» уже была признана берлинской эмиграцией. Это видно по тому, с каким восторгом его приветствовали на празднованиях в честь Дня русской культуры: в форме неспешного прозаического стриптиза он описывает эти чествования жене. Литературный дар Набокова продолжал быстро совершенствоваться (хотя «Руль», в котором он в основном публиковался, в Париже читали мало), и они с Верой Евсеевной жили в Берлине относительно безбедно благодаря скромному быту и невеликим, но достаточным доходам от его уроков, издания первых двух его романов на немецком языке и от ее секретарской работы по несколько часов в день.

В 1929 году, когда Сириин начал публиковать «Защиту Лужина» в наиболее престижном эмигрантском издании с самыми высокими гонорарами – парижском журнале «Современные записки», – Нина Берберова так откликнулась на первые главы романа: «Огромный, зрелый, сложный современный писатель был передо мной, огромный русский писатель, как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания. Наше существование отныне получало смысл. Все мое поколение было оправдано»<sup>27</sup>. Иван Бунин, патриарх эмигрантской литературы, будущий первый русский писатель – лауреат Нобелевской премии, по-своему высказался о «Защите Лужина»: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня»<sup>28</sup>. Третьим важнейшим центром европейской эмиграции была Прага – там собралось представительное научное сообщество, привлеченное стипендиями чешского правительства. Приехав в Чехословакию в мае 1930 года, чтобы повидаться с родными, Набоков и в Праге стал литературной звездой, хотя его больше волновали стесненные бытовые обстоятельства матери (в том числе клопы и тараканы), замужества сестер, литературные амбиции младшего брата, а также любимая такса всех домочадцев, Бокс, который от старости его не признавал.

Следующая поездка без Веры Евсеевны снова состоялась в Прагу к родным: Набоков отправился туда в апреле 1932-го. Он восхищался маленьким племянником Ростиславом, сыном сестры Ольги, но его тревожило, что родители мало занимаются ребенком. С показавшимся мрачным городом его примирило только перечитывание Флобера, сухой и отрешенный пересмотр собственных ранних стихов и знакомство с коллекцией бабочек в Национальном музее.

Возможно, именно тревогой Набокова объясняется то, что в письмах 1932 года нет потока ласковых прозвищ, – но установить это теперь не представляется возможным. Дело в том, что текст писем доступен нам только в записях, которые Вера Евсеевна надиктовала мне на магнитофон в декабре 1984-го и январе 1985 года. Собирая материал для биографии Набокова, я много лет настойчиво просил ее показать мне письма мужа. Просмотреть их лично она мне так и не позволила, но в конце концов согласилась начитать под запись то, что сочтет уместным. Позднее часть архива Набокова была передана в Нью-Йоркскую Публичную библиотеку, в которой ныне хранятся оригиналы его переписки с женой. Но, по-видимому, в конце 1990-х годов связка писем, относящаяся к 1932 году, исчезла. Поскольку во время этого чтения Вера Евсеевна опустила большинство любовных обращений и игривых подробностей, частых в других рукописных посланиях, письма 1932 года, и особенно те, что относятся к апрельской поездке в Прагу, утратили часть своего очарования.

Письма за октябрь-ноябрь 1932 года тоже дошли до нас в отредактированном Верой Евсеевной виде. Однако, по-видимому, они не так пострадали, как предыдущие, потому что представляют собой хронику набоковского триумфа в Париже, которую его жена рада была сохранить для потомков. В октябре Набоковы гостили у кузена Николая Набокова и его жены

---

<sup>27</sup> Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 1996. С. 370–371.

<sup>28</sup> Цит. по: Любимов Л. На чужбине // Новый мир. 1957. № 3. С. 167. Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. С. 402.

Наталии в Кольбсхайме под Страсбургом. После возвращения Веры Евсеевны в Берлин Набоков провел еще несколько дней у двоюродного брата, а потом отправился в Париж, где пробыл месяц. Там его горячо приветствовали писатели-эмигранты (Иван Бунин, Владислав Ходасевич, Марк Алданов, Борис Зайцев, Нина Берберова, Николай Евреинов, Андре Левинсон, Александр Куприн и многие другие) и издатели – прежде всего Илья Фондаминский и Владимир Зензинов из «Современных записок». В большинстве своем раньше они не были знакомы с «Сириным» лично. Многие стали деятельно заниматься поиском заработков для него, организуя публичные чтения и встречи с руководителями французских издательств («Грассе», «Фаяр», «Галлимар»), писателями (Жюлем Сюпервьелем, Габриэлем Марселем, Жаном Поланом) и переводчиками (Дени Рошем, Дусей Эргаз). Потому-то относящиеся к той осени письма Набокова пестрят искусными зарисовками русских и французских литераторов. Он изумлен и восхищен их щедростью по отношению к себе, особенно «милейшим и святым» издателем и главным меценатом «Современных записок» Фондаминским<sup>29</sup>.

В 1932 году Набоковы переехали на другую берлинскую квартиру, тихую и доступную им по цене, так как она принадлежала двоюродной сестре и близкой подруге Веры Евсеевны Анне Лазаревне Фейгиной. В мае 1934 года у них родился сын Дмитрий. Власть Гитлера укреплялась, Вера Евсеевна как еврейка уже не могла работать, а Дмитрия нужно было обеспечивать всем необходимым. Поэтому у супругов были все основания искать немедленного заработка, а также долгосрочных перспектив в другой стране. Беспокоясь о будущем, Набоков сам перевел на английский роман «Отчаяние» и написал первый свой рассказ на французском, «Мадмуазель О». В январе 1936 года он отправился в Брюссель, Антверпен и Париж, где должен был провести ряд литературных чтений как на русском, так и на французском языках, упрочив тем самым свои связи с литературным миром Франции. Набоков быстро сдружился с Францем Элленсом, ведущим бельгийским писателем. В Париже он жил у Фондаминского и Зензинова и скоро проник – порой глубже, чем ему того хотелось бы, – в высший свет эмигрантской литературы, примером чему служит эпистолярный рассказ жене о том, как Бунин силком тянул его ужинать. И хотя на совместном вечере с Ходасевичем Набоков добился оглушительного успеха, его письма прежде всего посвящены впечатлениям от других писателей, а также энергичным и настойчивым, хотя и безуспешным, попыткам установить деловые отношения с издателями.

В конце 1936 года Гитлер назначил Сергея Таборицкого, одного из двух ультраправых террористов, убивших в 1922 году отца Набокова, заместителем руководителя службы по делам эмигрантов. Вера Евсеевна настаивала на том, чтобы муж прежде, чем перевозить семью во Францию или в Англию, сам бежал из Германии. В конце января 1937 года Набоков окончательно покинул Третий рейх: сначала заехал в Брюссель для выступления на литературном вечере, а потом направился в Париж, где вновь остановился у Фондаминских.

К столетию гибели Пушкина он написал статью по-французски и начал переводить на французский некоторые рассказы. Чтения на русском и на французском, как публичные, так и в частных домах, проходили с большим успехом, однако Набокову никак не удавалось получить удостоверение личности и тем более разрешение на работу во Франции. В конце января у него начался страстный роман с Ириной Гуаданини, поэтессой, зарабатывавшей стрижкой пуделей, с которой он познакомился в 1936 году. Измена так мучила Набокова, что вызвала у него почти невыносимое обострение хронического псориаза. Одновременно он пытался устроить переезд семьи во Францию, однако Вера Евсеевна, которую беспокоили денежные вопросы и слишком беспечно-оптимистичное отношение мужа к перспективам на будущее, отказывалась уезжать из Берлина. В конце февраля Набоков провел несколько выступлений в Лондоне, стараясь установить там контакты в литературных и общественных

<sup>29</sup> Письмо от 3 ноября 1932 г.

кругах в надежде не только найти издателя для своей краткой автобиографии, написанной по-английски, и сборника рассказов в переводах, но и получить преподавательскую должность в университете. Несмотря на титанические усилия и возникшие в их результате прекрасные связи, он почти ничего не добился. Опереться в Англии Набоковым оказалось не на что.

По возвращении в Париж в начале марта любовная связь Набокова с И. Гуаданини возобновилась. Из-за нее переписка с женой становится все более напряженной. Теперь он пытается уговорить ее выехать из Германии и присоединиться к нему на юге Франции, где друзья друзей предлагали места для проживания. Набоков хочет, чтобы Вера Евсеевна миновала Париж, но до нее уже дошли слухи о его романе, и она соглашается ехать куда угодно, только не во Францию: в Бельгию, в Италию, лучше всего – в Чехословакию, где они могли бы показать Елене Ивановне внука. Наконец Вера Евсеевна признается, что прослышала о его любви к другой женщине, Набоков это отрицал. Натянутость в отношениях выражается не в обвинениях или отпирательстве, а в том, что планы их воссоединения постоянно меняются: вслед за каждым ходом Набокова следует контрход его жены. Как заметила Стейси Шифф, в письмах 1937 года «голоса супругов звучат в томительном диссонансе»<sup>30</sup>. Дополнительным препятствием к встрече, отразившимся в переписке, стали почти непреодолимые сложности, связанные с получением выездных виз из Германии для Веры и Дмитрия, а для Набокова – с поездкой из Парижа в Прагу, где они в итоге воссоединились из-за упрямого сопротивления Веры его французскому плану: Набоков приехал в Чехословакию 22 мая, через Швейцарию и Австрию, минуя Германию.

Через полтора месяца, опять в объезд Германии, Набоковы вместе отправились обратно во Францию и обосновались в Каннах. За признанием в измене последовали семейные бури, но после того, как Набоков поклялся, что увлечение – в прошлом, наступило затишье; однако он продолжал писать к Гуаданини. Опасаясь полного разрыва, она 8 сентября пренебрегла запретом на свидания и приехала в Канны. После короткой встречи Набоков велел ей возвращаться в Париж, поставив тем самым точку в их отношениях. Несмотря на этот шаг, им с женой понадобилось немало времени, чтобы вернуться к прежней близости.

Проведя больше года в Каннах, Ментоне и на Кап д'Антиб, они снова отправляются на север, в Париж. У Набокова появился американский литературный агент Альтаграция де Жанелли, которая сумела продать издательству «Боббз-Меррил» переработанный автором вариант перевода «Камеры обскуры» – «Смех в темноте». Однако, несмотря на восторженные отзывы русскоязычных рецензентов во Франции, Англии и США на другие, более сложные произведения, проза Набокова оказалась слишком оригинальной, чтобы немедленно заинтересовать издателей не из эмигрантской среды. Так и не получившему разрешение на работу во Франции Набокову становилось все сложнее содержать семью литературными заработками. Наваливается бедность; Набоков начинает выглядеть все более изможденным.

В начале 1939 года, рассчитывая на обретение убежища за пределами Франции, он написал свой первый английский роман «Истинная жизнь Севастьяна Найта». В апреле он отправился в Лондон, где узнал, что на русском отделении Лидского университета открывается вакансия: если ее займет кто-то из сотрудников Лондонского или Шеффилдского университета, то в одном из них освободится место лектора. Письма к Вере Евсеевне в Париж свидетельствуют, что темп, присущий набоковским поискам заработков во время поездок 1936 и 1937 года, стал еще лихорадочнее. Тем не менее ни напряженные усилия, ни поддержка высокопоставленных русских и английских друзей из мира науки и литературы не дают ожидаемого результата: из Англии Набоков привез лишь новые дружеские контакты и рассеявшиеся вскоре надежды. Еще одна поездка состоялась в начале июня и породила новую связку писем, но заветная цель так и не стала ближе.

<sup>30</sup> Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков). С. 125.

Набоковым удалось вырваться из Европы лишь благодаря счастливой случайности. На лето 1941 года Марку Алданову предложили место преподавателя писательского мастерства в Стэнфордском университете, но Алданов счел свой английский слишком слабым для работы в США и передал приглашение Набокову. Оно позволило обратиться за разрешением на выезд из Франции. Хотя на получение виз и поиск средств на переезд через Атлантику ушло много времени, 28 мая 1940 года – всего за две недели до оккупации немцами Парижа – Набоковы отплыли в Нью-Йорк. Там снова пришлось заняться частными уроками. Кроме того, Набоков писал рецензии для местных газет, а также – благодаря завязавшемуся знакомству с Эдмундом Уилсоном – для журнала «Нью репаблик». В марте 1941 года при содействии двоюродного брата Николая его пригласили прочитать двухнедельный курс лекций в колледже Уэлсли, в связи с чем образовалась еще одна стопка писем к жене.

Как раз тогда был подписан пакт Молотова–Риббентропа о ненападении между Германией и Советским Союзом. Антисоветские взгляды Набокова сделали его лекции особенно привлекательными. Согласно письмам, писатель не мог поверить комплиментам, которыми его одаривали слушатели. В результате успешных выступлений он получил контракт на преподавание в Уэлсли в 1941/42 учебном году. Однако, несмотря на то что в конце 1941 года вышла в свет «Истинная жизнь Севастьяна Найта», а другие набоковские сочинения регулярно появлялись в журналах «Атлантик» и «Нью-Йоркер», финансовые обстоятельства вынудили Набокова отправиться в лекционные туры: в октябре 1942-го – по американскому Югу, в ноябре – по Среднему Западу, а в декабре – в Вирджинию. На этот раз у него было даже больше свободного времени, чем во время короткой поездки в Уэлсли в 1941-м, чтобы описывать жене свои американские приключения и наблюдения. Его самый занимательный, воистину «пнининский», день породил и самое длинное из всех писем: в нем три тысячи слов!

С 1943 по 1948 год следуют ежегодно возобновляющиеся контракты: преподавание русского языка в Уэлсли и лепидоптерологические исследования в Гарвардском музее сравнительной зоологии. С 1948 по 1959 год Набоков занимает постоянную должность преподавателя в Корнелле. Теперь он редко разлучается с женой надолго. Но в июне 1944 года ей необходимо везти Дмитрия в Нью-Йорк на диагностическую операцию, завершившуюся удалением аппендикса, а ему – оставаться на работе в Кембридже. 6 июня, в день высадки союзников в Нормандии, Набоков стал жертвой феерического пищевого отравления, с упоением описанного жене в забавных подробностях, наряду с рассказом о мучительном пребывании в госпитале, из которого едва выздоровевший пациент сбежал в одной пижаме. После этого писем становится и того меньше. За весь период работы над автобиографией, «Лолитой», «Пниным», переводом «Евгения Онегина» и комментариями к нему лишь почетное приглашение прочитать курс лекций в Канзасском университете в 1954 году подарило нам еще одну стопочку писем Набокова к жене.

В 1958 году по Северной Америке и большей части Европы пронесся ураган «Лолита». В 1959-м Набоков смог подать в отставку в Корнеллском университете и уехать с Верой в Европу – отчасти чтобы навестить сестру Елену Сикорскую, жившую теперь в Женеве, отчасти чтобы присмотреть за Дмитрием: повзрослевший обладатель прекрасного баса обучался пению в Милане. Набоковы не собирались оставаться в Старом Свете, но скоро выяснилось, что там проще укрыться от бремени славы, обрушившейся на них в Америке. За все последующие годы жизни в Европе у них не было причин разлучаться. Лишь однажды им довелось обменяться письмами – когда в начале апреля 1970 года Набоков поспешил уехать в Таормину, чтобы застать на Сицилии ранних бабочек. После этого «(пере)писка» становится фрагментарной. Самая короткая записка содержит всего три слова: «Сорок пять весен!»<sup>31</sup> и прилагается к букету, подаренному Вере Евсеевне на годовщину свадьбы. Всего три слова, но какая

<sup>31</sup> Записка от 15 апреля 1970 г.

изящная языковая игра: вместо формы множественного числа слова «лето» Набоков использует слово «весен», будто утверждая, что совместно прожитые годы были по-весеннему свежи и радостны.

## II

Совсем иной эпистолярный ритм последних лет и даже десятилетий совместной жизни Набоковых указывает на то, как существенно изменились их жизненные обстоятельства. Очарование всей переписки в какой-то мере определяется и этим: голос и мировосприятие писателя остаются неизменными, но приобретают разные черты в зависимости от перемен в жизни и любви, в связи со сдвигами исторического контекста, а также при изменении требований к Набокову как человеку и корреспонденту: батрак на ферме и пишущий под псевдонимом поэт – в 1923 году; сын, брат и начинающий драматург – в 1924-м; репетитор и временный опекун мальчика-подростка – в 1925-м; ободряющий голос из берлинского дома – в 1926-м; приехавший повидаться сын и брат – в 1930-м и 1932-м; странствующий литератор в поисках издателя – в 1932-м, а позднее еще и измученный соискатель должности и доведенный до крайности проситель консулов и паспортных «крыс» в 1936-м, 1937-м и 1939-м. Помимо этого, неверный муж, страдающий псориазом и близкий к самоубийству, – в 1937-м; пытающийся всех очаровать будущий преподаватель – в 1941-м; бедствующий лектор в разъездах – в 1942-м; пациент госпиталя – в 1944-м; уехавший по приглашению выдающийся лектор – в 1954-м; человек, наслаждающийся временным отдыхом, – в 1970-м. В каком-то смысле такие перемены отражают нормальное течение любой жизни, но набоковские ипостаси в одно и то же время и типичны, и уникальны: беззаботный молодой супруг, занятый необременительным трудом; признанный, но мало зарабатывающий писатель, кумир исчезающей эмигрантской аудитории; востребованный внештатный преподаватель, с успехом странствующий лектор без постоянного места и уважаемый профессор на почетной должности; наконец, богатый прославленный писатель. И в некотором смысле эти перемены отражают вполне предсказуемые перипетии долгой любви Набоковых. Но и здесь есть противоречие, ибо неповторимы сами любящие. С самого первого момента, когда Вера Евсеевна появилась перед Набоковым в маске, они были обречены пережить страстные первые признания и сложности привыкания друг к другу; всевозможные жизненные тревоги и трудности, среди которых – трудный ребенок, супружеская измена, больная мать и угрожающая им государственная тирания; переиначивание себя для новой и в некоторых отношениях все еще небезопасной жизни в новой стране. Наконец, тончайшая душевная перенастройка последних лет жизни.

Есть нечто странное в том, что эпистолярная летопись этого долгого брака оказалась вдвойне односторонней. Судя по всему, Вера Евсеевна уничтожила все свои письма к Набокову, которые ей удалось разыскать. Даже приписки на открытках к свекрови она посчитала недостойными сдачи в архив: сохраняя его часть послания, она густо вымарала каждое *свое* слово<sup>32</sup>.

Как мне всегда помнилось, все до единого письма Веры Евсеевны к Владимиру Владимировичу были уничтожены. И все же, непосредственно перед тем, как приступить к работе над этим предисловием, я обратился к своим спискам с трех ее коротких деловых записок. Две оказались в портфельчике, который мне принесла году в 1981-м одна из ее секретарш: она знала, что я занимаюсь каталогизацией архива, а портфель обнаружила в дальнем углу, где вдова Набокова его не заметила. По крайней мере одно из этих писем стоит того, чтобы быть

<sup>32</sup> Исключение составляет одна игривая открытка, написанная новобрачными, – она сохранилась, видимо, потому, что слова жены неразделимо переплелись со словами мужа. В первую зиму их совместной жизни Набоковы катались на лыжах в Круммхюбеле в Германии (теперь город Карпач в Польше). Через несколько дней после возвращения, 7 января 1926 года, Вера Евсеевна начала писать открытку к свекрови, но получилось так (его слова даны курсивом): «Володя так мешает мне писать, что я лучше напишу в другой раз, когда его не будет дома – *я не мешаю* – это неправда – *правда* – что неправда» (из моего архива. – Б. Б.).

процитированным полностью, ибо развеивает ожидания читателя. Оно относится примерно к 1 июня 1944 года – поездке Веры с десятилетним Дмитрием в Нью-Йорк на операцию:

Ехали благополучно. Жара была неистовая. Сегодня были у Д., делаются дополнительные анализы и т. д., но операция назначена на среду окончательно. Подробнее напишу в понедельник, когда увижу Д. опять, утром будут еще X-Rays. Ждем письма. Все кланяются.

*Вера*<sup>33</sup>

В архиве Владимира Набокова в собрании Бергов Нью-Йоркской публичной библиотеки нет ни одного письма от жены писателя, – по крайней мере, ни одно из них до сих пор не внесено в каталог. Но уже после того, как я завершил, как мне казалось, это предисловие, написав в том числе и предыдущий абзац, я углубился в собственный архив и обнаружил в нем неполный список с письма, отправленного Верой Евсеевной 9 мая 1971 года биографу Набокова Эндрю Филду: в нем она цитирует свое письмо к мужу. В этом письме, переписанном ее рукой для Филда, содержатся некоторые новые сведения относительно странной судьбы «Жизни Чернышевского» – четвертой главы «Дара». Несмотря на то что «Современные записки» гордились возможностью печатать Сирина – в особенности его наиболее яркий русскоязычный роман «Дар», – редакция журнала наотрез отказалась опубликовать четвертую главу из-за выраженного в ней непочтительного, едко-критического отношения к Н. Г. Чернышевскому. Приехав в США, Набоков продолжал искать возможности обнародовать эту главу и, если получится, весь «Дар» без купюры размером в сто страниц. Поэтому, когда Владимир Мансветов и другие русские писатели, уже обосновавшиеся в Америке, предложили Набокову дать им образец прозы для включения в антологию<sup>34</sup>, он предоставил им именно «Жизнь Чернышевского». В связи с этим 17 марта 1941 года Вера Евсеевна из Нью-Йорка писала мужу, в это время читавшему лекции в Уэлсли:

Сейчас была у меня Кодрянская. «Чернышевский для социалистов икона, и если мы это напечатаем, то погубим сборник, так как рабочая партия его не будет раскупать». Сама в отчаянии, но совершенно курица. Повторяет слова Мансветова. Я просила все это письменно, чтобы тебе переслать. Я сказала твое мнение о цензуре – всякой. Еще: «Эту вещь нельзя в Америке печатать, т. к. он загубит свою репутацию». На это я прямо сказала: передайте, что ему наплевать, о репутации он сам позаботится.

...Сегодня у них заседание все о том же<sup>35</sup>.

Вера Евсеевна предоставила это письмо Филду, поскольку гордилась способностью мужа одерживать победы и его принципиальностью; ее не остановило даже то, что в письме отчетливо проявляется и такая черта ее собственного характера, как нестигаемость, необходимая для отстаивания интересов Набокова. Однако свои письма она уничтожила прежде всего потому, что считала, будто они никого не касаются и не стоят того, чтобы их хранить. Вспоминаю при этом, как она сказала мне однажды, что ее золовка Е. В. Сикорская проявила тщеславие, включив в опубликованную «Переписку с сестрой»<sup>36</sup> не только письма брата, но и свои собственные. Иными словами, женщина, в юности не снявшая маски перед человеком, которого стремилась очаровать, в свои зрелые годы решила не снимать маски перед всем миром.

<sup>33</sup> Копия, снятая мною с оригинала, тогда находившегося в Монтрё (нынешнее местонахождение неизвестно). Д. – неустановленное лицо, возможно врач по фамилии Дынник или Дынкин (см. примеч. к письму от 9 июня 1944 г.). X-Rays (англ.) – рентген.

<sup>34</sup> Ковчег: Сборник русской зарубежной литературы. Нью-Йорк: Ассоциация русских писателей Нью-Йорка, 1942.

<sup>35</sup> Пропуск в цитате В. Е. Набоковой оригинального письма Филду (из моего архива. – Б. Б.).

<sup>36</sup> Набоков В. Переписка с сестрой / Под ред. Е. Сикорской. Анн Арбор: Ардис, 1985.

И это даже после того, как она сделала все возможное, чтобы помочь Набокову стать всемирно известным писателем, чего, по ее мнению, он безусловно заслуживал.

Выше я писал, что переписка между супругами «оказалась вдвойне односторонней». Еще более странным, чем уничтожение Верой Евсеевной своих писем, представляется их малое число. После первого знакомства и последовавшего за ним стихотворения, посвященного девушке в маске, она написала Набокову несколько писем на юг Франции, дождавшись в ответ всего лишь одного послания. Но затем их переписка стала по большей части односторонней в противоположном направлении: в ответ на каждые пять писем Набокова Вера зачастую писала не более одного. Он был истовым, неутомимым корреспондентом, и хотя порой ее молчание вызывало у него досаду, очень терпимо относился к тому, что многие на его месте сочли бы недостатком внимания со стороны любимого человека. Этот дисбаланс сохранялся и во время длительных разлук, от его поездки в Прагу в 1924 году («“Ты безглагольна, как все, что прекрасно...” Я уже свыкся с мыслью, что не получу от тебя больше ни одного письма, нехорошая ты моя любовь»<sup>37</sup>; «Ты не находишь ли, что наша переписка несколько... односторонняя? Я так обижен на тебя, что вот начинаю письмо без обращения»<sup>38</sup>) и ее пребывания в санатории в 1926 году («Тюфка, по-моему, ты пишешь ко мне слишком часто! Целых два письма за это время. Не много ли? Я небось пишу ежедневно»<sup>39</sup>; «Будет завтра мне письмо? Сидит ли он сейчас в почтовом вагоне, в тепле, между письмом от госпожи Мюллер к своей кухарке и письмом господина Шварц к своему должнику?»<sup>40</sup>) до Праги в 1930 году («Мне грустно, что ты так мало пишешь, мое бесконечное счастье»<sup>41</sup>) и Таормины в 1970-м («Неужели не получу от тебя весточки?»<sup>42</sup>).

Невзирая на свои частые сетования, Владимир Владимирович бурно радовался тем письмам, которые все-таки получал: «Зато получил сегодня – наконец – твое чудное (звездное!) письмо»<sup>43</sup>; «Душенька моя, любовь, любовь, любовь моя, – знаешь ли что, – все счастье мира, роскошь, власть и приключения, все обещанья религий, все обаянье природы и даже человеческая слава не стоят двух писем твоих»<sup>44</sup>; «Любовь моя, я все гуляю по твоему письму, испи-санному со всех сторон, хожу, как муха, по нем<у> головой вниз, любовь моя!»<sup>45</sup>

У тех, кому известно, сколько Вера Евсеевна сделала для мужа как его секретарь, агент, архивариус, шофер, редактор, ассистент по научной и преподавательской работе, машинистка на четырех языках, часто возникает ощущение, что она в каком-то смысле была у него в услужении. Это не так: она посвятила себя служению Набокову, но на собственных условиях. Она вела себя смело и решительно с того самого момента, когда, едва достигнув двадцати одного, подошла к Сирину, скрыв лицо под маской, а после его отклика на ее приглашение написала несколько писем, прежде чем получила от него в ответ хотя бы одно слово. В Европе и в Америке она носила в сумочке пистолет и впоследствии очень гордилась тем, что Дмитрий, титулованный профессиональный гонщик, владелец нескольких «феррари» и скоростных катеров, с гордостью говорил: мама водит, как мужчина.

В Вере Евсеевне был определенный напор, внутренняя твердость – но была и хрупкость, особенно в молодости. Она с первого слова давала понять, что свои правила не изменит. В первом письме с фермы на юге Франции Набоков пишет: «И хороши, как светлые ночи, все твои

<sup>37</sup> Письмо от 12 января 1924 г.

<sup>38</sup> Письмо от 14 января 1924 г.

<sup>39</sup> Письмо от 9 июня 1926 г.

<sup>40</sup> Письмо от 28 июня 1926 г.

<sup>41</sup> Письмо от 19 мая 1930 г.

<sup>42</sup> Письмо от 8–9 апреля 1970 г.

<sup>43</sup> Письмо от 8 января 1924 г.

<sup>44</sup> Письмо от 19 августа 1925 г.

<sup>45</sup> Письмо от 10 февраля 1936 г.

письма – даже то, в котором ты так решительно подчеркнула несколько слов»<sup>46</sup>. В следующем, относящемся к стадии вечерних свиданий и прогулок по сверкающим огнями берлинским улицам: «Нет – я просто хочу тебе сказать, что без тебя мне жизнь как-то не представляется – несмотря на то, что думаешь, что мне “весело” два дня не видеть тебя. <...> Слушай, мое счастье, – ты больше не будешь говорить, что я мучу тебя?»<sup>47</sup>

Как и Набоков, она умела восторгаться житейскими пустяками и литературными находками; он утверждал, что из всех женщин, которых он когда-либо встречал, у нее самое лучшее, самое живое чувство юмора. Однако сам Набоков был жизнерадостен по природе, в то время как его жене было свойственно впадать в уныние. Он упрасивал ее незадолго до возвращения из американского лекционного турне: «Люблю тебя, моя душенька. Постарайся – будь веселенькой, когда возвращусь (но я люблю тебя и унылой)»<sup>48</sup>. Она же признавала, что склонна подвергать все критике. Например, не могла удержаться от упреков даже в адрес человека, которого любила всей душой. Во время своей первой изматывающей поездки в Париж, где он налаживал литературные связи, Набоков пишет с досадой: «...но что же я буду тебе все рассказывать, если ты считаешь, что я ничего не делаю»<sup>49</sup>. Или во время первого посещения Лондона с той же целью: «Душка моя, *it is unfair* (как я уже тебе писал) говорить о моем легкомыслии. <...> Я прошу тебя, моя любовь, не делай мне больше этих ребяческих упреков, *je fais ce que je reux*»<sup>50</sup>. Снова из Лондона, два года спустя: «Я готов к тому, что вернусь в Париж, оставив лидский замок висющим в сиреневой мути на вершок от горизонта, но если так, поверь, что будет не моя вина, – я предпринимаю все, что в моих силах и возможностях»<sup>51</sup>. И на следующий день: «Не пиши мне про “*don't relax*” и про “*avenir*” – это только меня нервит. Впрочем, я обожаю тебя»<sup>52</sup>.

С той же строгостью она обращалась и с другими. Т. Г. Гексли был бульдогом при Дарвине, а Вера Евсеевна – при Набокове, пусть и в образе изящной гончей. То, что он выстроил свою жизнь на прочном фундаменте Веринной поддержки, является известной далеко не всем стороной его личности.

На протяжении 1920-х и 1930-х годов Набоков добивался все большего признания. Поскольку он никогда не искал ни покорного, ни льстивого одобрения, в письмах к жене об этом повествуется не только с гордостью, но и со смущением. Да и в собеседники он выбирал людей скорее независимых, чем покладистых: язвительного Ходасевича, задиристого Эдмунда Уилсона, напористую Эллендею Проффер, неугомонного Альфреда Аппеля. Известный своей непочтительностью, порой даже к Шекспиру, Пушкину и Джойсу, не говоря уже о Стендале, Достоевском, Томасе Манне, Элиоте и Фолкнере, в письмах к жене он избегал благоговейности и высказывался против преклонения перед общественным положением, властью, богатством или репутацией. Редко откликаясь на текущие новости, Набоков тем не менее бурно отреагировал на одну заметку 1926 года: «Приехал финляндский президент в гости к латвийскому, и по сему поводу в передовице “Слова” восемь раз на протяжении сорока шести строк повторяется “высокие гости”, “наши высокие гости”. Вот лижут!»<sup>53</sup> Эта же ненависть к чванству породила искрометно-уничужительную зарисовку критика Андре Левинсона и его трепещу-

<sup>46</sup> Письмо написано около 26 июля 1923 г.

<sup>47</sup> Письмо от 8 ноября 1923 г.

<sup>48</sup> Письмо от 9 ноября 1942 г.

<sup>49</sup> Письмо от 3–4 ноября 1932 г.

<sup>50</sup> Письмо от 6 апреля 1937 г. *It is unfair* – несправедливо (*англ.*). *Je fais ce que je reux* – я делаю все, что могу (*фр.*). «Лидским замком» Набоков называет желанную должность преподавателя в Лидском университете Англии (намек на выражение «строить воздушные замки»).

<sup>51</sup> Письмо от 13 апреля 1939 г.

<sup>52</sup> Письмо от 14 апреля 1939 г. *Don't relax* – не расслабляйся (*англ.*). *Avenir* – будущее (*фр.*).

<sup>53</sup> Письмо от 24 июня 1926 г.

щего от почтительности семейства; неотразимые выпады против случайного знакомого Александра Гальперна, «не очень приятенького, осторожнодвигающегося, чтобы не просыпать себя, которым он полон»<sup>54</sup>; порицания Кисы Куприной с ее «улыбкой “поговорим обо мне”»<sup>55</sup> или Вериней сестры Софьи – Набоков с неприязненностью вспоминает, как она извивалась в кольцах собственного величия. Набоков сумел сохранить дружбу с Алдановым, но при этом в письме не преминул посетовать, что тот «как будто впивает похвалу»<sup>56</sup>.

Набоков с юношеским пылом относился к чужим комплиментам. Выходя в Берлине с вечера у друзей, где вызвал общее восхищение, он от восторга даже прошелся колесом. Однако из письма видно, что, делая акробатический трюк, он не потерял голову: «...опять похвалы, похвалы... мне начинает это претить: ведь дошли до того, что говорили, что я “тоньше” Толстого. Ужасная вообще чепуха»<sup>57</sup>. Через десять лет он напишет: «Чтобы потом не было неловко (как случилось с моими письмами из Парижа – когда я их перечитывал), теперь же и впредь – совершенно отказываюсь от приведения всех тех прямых и косвенных комплиментов, которые получаю»<sup>58</sup>. Еще через год сообщит, что Габриэль Марсель хочет повторения «conférence (которую он перехваливает)»<sup>59</sup>. Набоков мог критически отзываться о своих предыдущих и даже текущих работах («Не знаю, как сегодня сойдет моя “Mlle” – боюсь, что длинно и скучно»<sup>60</sup>; «...как мне наплевать на эти мои французские испражнения!»<sup>61</sup>). Те, кто путают его с такими тщеславными персонажами, как Германн, Гумберт, Кинбот и Ван Вин, непроницательны, ведь тщеславие для Набокова было мишенью, а не способом существования.

Набокову случалось проявлять несдержанность и досаду, однако в письмах он по большей части предстает человеком, способным судить о других с душевной щедростью и уважением: «А он со своими выдающимися глазами, которые точно вылезают из глазниц, оттого что сдавили его (впалые до болезненности) щеки, – милейший»<sup>62</sup>; «...я окружен сотнями милейших людей»<sup>63</sup>; «Он оказался большой упругой душкой»<sup>64</sup>. В парижском метро: «Контролера я как-то спросил, что это такое так хорошо блестит в составе каменных ступеней, – блестки, вроде как игра кварца в граните, и тогда он с необычайной охотой, – делая мне les honneurs du métro, так сказать, – принялся мне объяснять и показывал, куда нужно стать и как смотреть, чтобы сполна любоваться блеском; если б я это описал, сказали бы – выдумка»<sup>65</sup>.

Как и всякий лепидоптеролог того времени, пойманных бабочек Набоков пронзал булавкой, а потом расправлял. В результате журналисты называли его, как князя Влада Дракулу – Vlad the Impaler или «Влад, сажающий на кол». Однако в письмах к жене, очень любившей животных (они перечисляли деньги Обществу борьбы с вивисекцией), снова и снова проявляется его нежность ко всяческим тварям и понимание их прелести: «Я спасаю мышей, их много на кухне. Прислуга их ловит: первый раз хотела убить, но я взял и понес в сад, и там выпустил. С тех пор все мыши приносятся мне с фырканием: “Das habe ich nicht gesehen”. Я уже выпустил таким образом трех или, может быть, все ту же. Она вряд ли оставалась

<sup>54</sup> Письмо от 21 апреля 1939 г.

<sup>55</sup> Письмо от 25 ноября 1932 г.

<sup>56</sup> Письмо от 24 октября 1932 г.

<sup>57</sup> Письмо от 12 июля 1926 г.

<sup>58</sup> Письмо от 24 января 1936 г.

<sup>59</sup> Письмо от 4 февраля 1937 г. Conférence – лекция (фр.).

<sup>60</sup> Письмо от 24 января 1936 г. Имеется в виду «Mlle O» (1936) – написанные по-французски воспоминания Набокова о его французской гувернантке.

<sup>61</sup> Письмо от 12 февраля 1937 г.

<sup>62</sup> Письмо от 19 февраля 1936 г.

<sup>63</sup> Письмо от 4 февраля 1937 г.

<sup>64</sup> Письмо от 21 апреля 1939 г.

<sup>65</sup> Письмо от 24 февраля 1936 г. Les honneurs du métro – почести метро (фр.), вместо стандартного les honneurs de la maison – домашние почести.

в саду»<sup>66</sup>. «Душа моя, какой у них кот! Что-то совершенно потрясающее. Сиамский, темного бежевого цвета, или taure, с шоколадными лапками <...> и дивные ясно-голубые глаза, прозрачно зеленеющие к вечеру, и задумчивая нежность походки, какая-то райская осмотрительность движений. Изумительный, священный зверь, и такой молчаливый – неизвестно, на что смотрит глазами этими, до краев налитыми сапфирной водой»<sup>67</sup>. «Каким легоньким и послушным кажется здешний щеночек – он вчера ушел головой в мой боковой карман и там увяз, оторгнув немножко голубого молочка»<sup>68</sup>.

С той же нежностью Набоков относился и к детям. Переход от одних к другим выглядит у него естественно: «На каждом постаменте парового отопления сидит по кошке, а на кухне скулит двадцатидневный щенок-волчонок. А как-то наш щеночек? Странно было проснуться нынче без голоса, проходящего на твоих руках мимо моей двери»<sup>69</sup>. Двумя днями позже, все еще из дома Малевских-Малевичей в Брюсселе: «Здесь слуга, Боронкин, с меланхоличным лицом, очень милый, возится со щенком и чудно готовит. Посматриваю на младенцев, – тут все коляски на толстых шинах. Проснулся en sursaut вчера с полной уверенностью, что мальчик мой попал ко мне в чемодан и надо скорее открыть, а то задохнется. Напиши мне скорее, любовь моя. Топики, топики, топики – об подножку стульчика на кухне по утрам. Я чувствую, что без меня там вылупляются новые слова»<sup>70</sup>. «...мне мучительно пусто без тебя (и без тепленького портативного мальчика)»<sup>71</sup>. В другом письме: «А он, – маленький мой? Мне прямо физически недостает некоторых ощущений, шерсти бридочек, когда отстегиваешь и застегиваешь, поджилочек, шелка макушки у губ, когда держишь над горшочком, носки по лестнице, замыкания тока счастья, когда он свою руку перебрасывает через мое плечо»<sup>72</sup>.

Его завораживала красота маленьких детей, их живость, незащищенность. Про сына двоюродного брата Сергея: «Какая прелесть маленький Ники! Я не мог от него оторваться. Лежал красненький, растрепанный, с бронхитом, окруженный автомобилями всех мастей и калибров»<sup>73</sup>. Об Ольгином «чрезвычайно привлекательном»<sup>74</sup> сыне: «Я вложил свою лепту в покупку для Ростислава некоторых носильных вещей. Единственное слово, которое он говорит, – это “да”, с большим чувством и много раз подряд “да, да, да, да”, утверждая свое существование»<sup>75</sup>.

Или про семью друга Глеба Струве: «Трое из детей в отца, очень некрасивые, с толстыми рыжими носиками (впрочем, старшая очень attractive), а четвертый, мальчик лет десяти, тоже в отца, да в другого: совершенно очаровательный, нежнейшей наружности, с дымкой, боттичелливатый – прямо прелесть. Юленька болтлива и грязна по-прежнему, увлекается скаутством, носит коричневую жакетку и широкополую шляпу на резинке. Чая не было в должное время, зато “обед” состоял из кулича и пасхи (прескверных) – это все, что дети получили, причем так делается не по бедности, а по распушенности»<sup>76</sup>.

Трепетным отношением Набокова к детям проникнуты образы Давида из романа «Под знаком незаконнорожденных», Лолиты из одноименного романа, Люсетты из «Ады». Ничто не может сильнее отличаться от липкого подглядывания Гумберта за школьницами, чем

<sup>66</sup> Письмо от 17 октября 1932 г. Das habe ich nicht gesehen – Я этого не видела (нем.).

<sup>67</sup> Письмо от 24 октября 1932 г. Тауре – серо-коричневый (англ.).

<sup>68</sup> Письмо от 24 января 1936 г.

<sup>69</sup> Письмо от 22 января 1936 г.

<sup>70</sup> Письмо от 24 января 1936 г. En sursaut – подскочив (фр.).

<sup>71</sup> Письмо от 4 февраля 1937 г.

<sup>72</sup> Письмо от 6 февраля 1936 г.

<sup>73</sup> Письмо от 22 января 1937 г.

<sup>74</sup> Письмо от 4 апреля 1932 г.

<sup>75</sup> Письмо от 6 апреля 1932 г.

<sup>76</sup> Письмо от 11 апреля 1939 г. Attractive – привлекательная (англ.). Юленька – жена Г. П. Струве, Юлия Юльевна.

то, как Набоков смотрит на самую маленькую и хрупкую девочку во дворе берлинской школы, который виден ему из окна пансиона: «Учительница хлопала в ладоши, и школьницы – совсем крохотные – бегали и подпрыгивали в такт. Одна, самая маленькая, все отставала, все путалась и тоненько кашляла»<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> Письмо от 2 июня 1926 г.

### III

На обложке набоковских «Избранных писем, 1940–1977» Джон Апдайк напишет: «Углубляйся в них с любого места, испытаешь восторг. Какой писатель! И право же, какой разумный и порядочный человек». Письма к жене раскрывают внутренний мир Набокова. Но что они говорят о нем как писателе? Разумеется, многое зависит от читающего. Лично меня поражает несколько вещей. Например, присущая набоковским посланиям живость, стремительность смены тем, интонаций и точек зрения. Они как будто на мгновение воплощают в себе реакцию Веры, вкратце передавая речь собеседника, или слова критика, или героические усилия Сирина:

«Сейчас барахтаюсь в мутной воде сцены шестой. Устаю до того, что мне кажется, что голова моя кегельбан, – и не могу уснуть раньше пяти-шести часов утра. В первых сценах – тысяча переделок, вычерков, добавок. И в конце концов буду награжден очередной остротой: “...не лишен поэтического дара, но нужно сознаться...” и т. д. А тут еще ты – молчишь...

Но – дудки! Так развернусь, что, локтем заслонившись, шарахнутся боги... Или голова моя лопнет, или мир – одно из двух. Вчера я ел гуся. Погода морозная: прямые розовые дымки и воздух вкуса клюквы в сахаре»<sup>78</sup>.

Не только ласковые обращения Набокова к жене содержат элемент игры, но и упреки его шутивы («Сейчас я выйду купить марок, нехорошо, что ты мне так редко пишешь, и бритву-жилетт»<sup>79</sup>). Игрой оборачиваются и его старания избежать бдительности немецких властей. В 1936–1937 годах, докладывая жене-еврейке, все еще остававшейся в Берлине, о деньгах, которые он заработал чтениями и публикациями за границей и которые он либо посылал матери в Прагу, либо отдавал родственнику на хранение, Набоков придумывал подставных лиц – Григорий Абрамович, Виктор, Калмбруд, – а заработанную тем или иным «представителем» сумму обозначал постоянно менявшимися терминами. Речь в письмах шла не о деньгах, а о книгах, журналах, страницах, колонках, бабочках и даже «Семенлюдвиговичах»<sup>80</sup>, ведь он писал из Брюсселя, и Вера Евсеевна, знавшая Семена Людвиговича Франка, могла догадаться, что гонорар получен в бельгийских франках.

Образы, создаваемые Набоковым в письмах, превращали такую будничную обязанность, как ежедневный отчет жене о житейских мелочах в 1926 году, в искреннюю радость («Погодка была ничего утром: мутненько, но тепло, небо прокипяченное, в пленках – но ежели их раздвинуть ложечкой, то совсем хорошее солнце, и следственно, я надел белые штанишки»<sup>81</sup>); подчеркивали романтику их отношений («Ты пришла в мою жизнь – не как приходят в гости (знаешь, “не снимая шляпы”»), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отраженья, все дороги – твоих шагов»<sup>82</sup>); наделяли чертами бессмертия человека или пейзаж («Как он, Бунин, похож на старую тощую черепаху, вытягивающую серую, жилистую, со складкой вместо кадыка шею и что-то жующую и поводящую тусклоглазой древней головой!»<sup>83</sup>); а также приуменьшали докучливость бюрократической волокиты («Жизнь моей немецкой визы – этого лишая на разрушающейся стене паспорта <...>»<sup>84</sup>).

<sup>78</sup> Письмо от 14 января 1924 г.

<sup>79</sup> Письмо от 11 июня 1926 г.

<sup>80</sup> Письмо от 27 января 1936 г.

<sup>81</sup> Письмо от 10 июня 1926 г.

<sup>82</sup> Письмо от 8 ноября 1923 г.

<sup>83</sup> Письмо от 13 февраля 1936 г.

<sup>84</sup> Письмо от 24 февраля 1936 г.

Набоков за всем наблюдает с жадностью – за животными, растениями, лицами, характерами, речью, небесными, земными и городскими пейзажами («В метро воняет, как в промежутках ножных пальцев, и так же тесно. Но я люблю хлопанье железных рогаток, росчерки (“merde”) на стене, крашенных брюнеток, вином пахнущих мужчин, мертво-звонкие названия станций»<sup>85</sup>). Музыкофил и выдающийся психолог Оливер Сакс справедливо отмечает его амурность («...для меня музыка, – признался он в автобиографии, – всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний»<sup>86</sup>), однако письма обнаруживают, что иногда музыка доставляет Набокову удовольствие: «Вернувшись восвояси, часок почитал – и удивительно играл танцевальную музыку “громкоговоритель” во дворе. Скрипичное томление саксофона, свирельные пируэты, мерный бой струн...»<sup>87</sup>; «...поехали к цыганам в очень симпатичное русское заведение Au Papillon bleu. Там пили белое вино и слушали действительно прекрасное пение. Настоящие цыганки плюс Полякова»<sup>88</sup>.

Его сумбурное чтение почти непредсказуемо. Как того и ожидаешь, Набоков перечитывает Флобера, Пруста и Джойса, но случаются и сюрпризы. Он заставляет себя знакомиться с советской художественной прозой, с энтузиазмом читает Анри Бери, Ральфа Ходжсона или Арнольда Беннетта. Еще ценнее свидетельства писательского труда Набокова, то, как письма отражают всплески его вдохновения. Перед нами предстают самые разнообразные жанры – стихи, пьесы, рассказы, романы, мемуары, киносценарии, переводы. Они приходят на ум автору, чтобы потом исчезнуть в никуда, подобно блуждающим огням вокруг роши завершенных сочинений. И хотя большая часть переписки относится к ранним годам и не может ничего сообщить о великих англоязычных романах Набокова или о его замечательных русских произведениях позднего периода (он был слишком занят налаживанием деловых связей и поиском издательских возможностей во время поездок в Париж и Лондон в 1930-е годы, чтобы найти время на сочинение чего-то нового), в письмах 1920-х годов отражена напряженная творческая работа над первым крупным произведением, «Трагедией господина Морна», и показано зарождение и создание двух стихотворений, в том числе одного из лучших – «Комнаты». Мы видим, как замысел рассказа про комнату трансформируется в стихотворение, и это превращение помогает лучше его понять. Но еще более интересен отчет о появлении на свет стихотворения «Тихий шум», ибо благодаря письмам мы можем проследить весь путь поэта – от досады до победы. В 1925 году Набоков стал звездой первого берлинского Дня русской культуры, а год спустя решил превзойти самого себя. Имея в своем распоряжении всего несколько суток, он тревожился из-за того, что у него ничего не было готово... Потом возник ритмический ряд, предшествующий появлению стихотворения, потом – отвращение к первоначальным ностальгическим клише, хлынувшим из временно закупоренной трубы его воображения. Затем Набокова захлестнули недавние впечатления, в том числе воспоминание о том, как он начал раздумывать над новым стихотворением, несколькими днями раньше проникшее в письмо. Память о былом и такие сиюминутные ощущения, как долгое хлопанье воды в клозете, постепенно соединяются в поэтические фрагменты, которые вдруг оборачиваются строфами: он все более захвачен ими, образы одолевают его перед сном. По пробуждении он идет к ученику, продолжает сочинять, и наконец, во время визита к Вериной двоюродной сестре, переносит стихотворение на бумагу, выучивает его наизусть, а потом, на празднике, с триумфом декламирует – и его раз за разом вызывают на бис.

Эта переписка велась отнюдь не для будущих читателей, что отчетливо видно из посланий 1926 года, где Набоков держит слово и подробно описывает, что ел, во что одевался, чем

<sup>85</sup> Письмо от 2 февраля 1936 г. Merde – дерьмо (*фр.*).

<sup>86</sup> Sacks O. Musicophilia: Tales of Music and the Brain. N.Y.: Knopf, 2007. P. 102; Nabokov V. Speak, Memory: An Autobiography Revisited. N.Y.: Putnam, 1967. P. 35–36 (Цит. по: Набоков В. Другие берега. М.: АСТ: CORPUS, 2022. С. 38).

<sup>87</sup> Письмо от 27 июня 1926 г.

<sup>88</sup> Письмо от 28 или 29 октября 1932 г.

занимался. Очевидно, что письма к жене разительно отличаются от писем к Эдмунду Уилсону<sup>89</sup>, в которых сходство и несходство литературных вкусов заставляет Набокова задействовать все силы своего писательского мастерства. Помимо прочего, к концу 1960-х Набоков стал, пожалуй, самым знаменитым из живущих писателей. Он не мог не отдавать себе отчета в том, что рано или поздно переписка с Уилсоном будет опубликована.

В 1968 году Набокову прислали из Праги его письма к родителям. Узнав об этом, Эндрю Филд, автор первого исследования творчества Набокова, получившего широкую известность, попросил у супругов разрешения начать работу над его биографией. Проект был одобрен, и, приехав в конце 1970 года в Монтрё, Филд снял фотокопии с переписки с родителями (отдельные наиболее личные пассажи от него все же были скрыты), а также с некоторых писем к жене, особенно за 1932 год, где говорилось о приеме Набокова в русских и французских литературных кругах. И хотя Набоков раскрыл Филду личности некоторых упомянутых в этих письмах людей, часть эпистолярных фрагментов супруги также предпочли утаить. Возможно, именно перед приездом Филда Вера Евсеевна и уничтожила свои послания к мужу.

Почти все свои письма к жене Набоков сочинял, не догадываясь, с каким любопытством потомки будут заглядывать ему через плечо. Однако во время их последней многодневной разлуки в Таормине в апреле 1970 года (если не считать вынужденных отлучек в больницы, которыми отмечены 1970-е годы) он уже знал, что Филд ознакомится с некоторыми его письмами к жене, и не мог не задумываться о том, что часть супружеской переписки, возможно, попадет в печать. Поэтому его первое письмо из Таормины домой в Монтрё<sup>90</sup> великолепно сочетает в себе пародию, поэзию, стремительность слога и словесную игру, характерные для стиля поздних публичных выступлений Набокова, и при этом отражает их с Верой редкую близость. В отличие от многих предыдущих посланий, где слышны тревожные отзвуки трудных жизненных ситуаций, это таорминское письмо в особенности пронизано покоем, который принесли слава, достаток, наличие свободного времени и почти полвека, прожитые вместе. В завершающих письмах из этой последней связки Набоков, судя по всему, возвращается к стилистике ежедневной переписки с женой и гораздо меньше думает о потомках. Вера Евсеевна вот-вот должна присоединиться к нему, и он обращается к ней с предчувствием того, что это, может быть, его последняя возможность писать лишь к ней одной, день за днем:

Теперь жду тебя. Немножко жалко в каком-то смысле, что кончается эта (пере)писка, обнимаю и обожаю.

Буду записывать белье, а затем около девяти пойду собирать.

В.

---

<sup>89</sup> См.: The Nabokov–Wilson Letters: Correspondence Between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1940–1971 / Ed. by Simon Karlinsky. N.Y.: Harper & Row, 1979; Dear Bunny, Dear Volodya: The Nabokov–Wilson Letters, 1940–1971. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2001.

<sup>90</sup> Письмо от 10 апреля 1970 г.

## Письма к Вере

1. Ок. 26 июля 1923 г.

*Солье-Пон, Домэн-де-Больё – Берлин*

Не скрою: я так отвык от того, чтобы меня – ну, понимали, что ли, – так отвык, что в самые первые минуты нашей встречи мне казалось: это – шутка, маскарадный обман... А затем... И вот есть вещи, о которых трудно говорить – сотрешь прикосновением слова их изумительную пыльцу... Мне из дому пишут о таинственных цветах. Хорошая ты...

И хороши, как светлые ночи, все твои письма – даже то, в котором ты так решительно подчеркнула несколько слов. Я нашел и его, и предыдущее, по возвращению из Marseille, где я работал в порту. Это было третьего дня – и я решил тебе не отвечать, пока ты мне не напишешь еще. Маленькая хитрость...

Да, ты мне нужна, моя сказка. Ведь ты единственный человек, с которым я могу говорить – об оттенке облака, о пеньи мысли и о том, что, когда я сегодня вышел на работу и посмотрел в лицо высокому подсолнуху, он улыбнулся мне всеми своими семечками. Есть крошечный русский ресторанчик, в самой грязной части Marseille. Я харчил там с русскими матросами – и никто не знал, кто я и откуда, и сам я дивился, что когда-то носил галстух <sic> и тонкие носки. Мухи кружились над пятнами борща и вина, с улицы тянуло кисловатой свежестью и гулом портовых ночей. И слушая, и глядя – я думал о том, что помню наизусть Ронсара и знаю названия черепных костей, бактерий, растительных соков. Странно было.

Очень тянет меня и в Африку, и в Азию: мне предлагали место кочегара на судне, идущем в Индо-Китай. Но две вещи заставляют меня вернуться на время в Берлин: первая – то, что маме уж очень одиноко приходится, вторая... тайна – или, вернее, тайна, которую мне мучительно хочется разрешить... Выезжаю я 6-го, – но некоторое время пробуду в Ницце и в Париже – у человека, с которым я учился вместе в Cambridge'e. Ты, вероятно, знаешь его. Таким образом, в Берлине я буду 10-го или 11-го... И если тебя не будет там, я приеду к тебе, – найду... До скорого, моя странная радость, моя нежная ночь. Вот тебе стихи:

вернуться ни время в Берлин: первая — то, что может  
 быть очень одиноко придется, — вторая... тайна — или  
 вторая тайна, которую мне мучительно хочется  
 раскрыть...] Выпущаю я в 6<sup>30</sup> — но некоторое время  
 пробуду в Нишле и в парижке — [у человека с  
 которым я учился влиять в Cambridge'а. Ты  
 вероятно знаешь его.] Таким образом в Берлин  
 я буду 10<sup>20</sup> или 11<sup>20</sup>. [И если тебе не будет там  
 я приеду к тебе, — найду... Во всяком, моя  
 страшная радость, моя потная нога. Вот тебе стихи:

Вечер

Зовешь, — а в деревце гранатовом совенка  
 полаивает, как щенок.  
 В вечерней вышине так одиноко и звонок  
 луны изогнутой клинок.

Зовешь, — и плещет ключ вечернею лазурью;  
 как голос твой, вода свята, —  
 и в миканной кубинке, лоснящийся гладурью,  
 лунка, вонзается, дрожа.

Зной

Я стержь со лба ухом капель тугих  
 и навдигаю легь на скользящий титановый скат,  
 где голосаки сплюснутые и жидкие  
 греютло солнце в восточных пахучих.

И я потывил в пылающую тьму  
 дня южного, — подъ пьяный плеск тиканка,  
 подъ лепет флейты — и рот пурпурный. Пана  
 прижался жадно к сердцу моему.

Я здесь очень много написал. Между прочим — два драмы  
 "Эвдуика" и "Польса". Первая будет в альманахе  
 "Галактика" — вторая в студ. журнале "Русский мир".

В.

**Вечер**

Зовешь, — а в деревце гранатовом совенка  
 полаивает, как щенок.

В вечерней вышине так одиноко и звонок  
 луны изогнутой клинок.

Зовешь, — и плещет ключ вечернею лазурью:

как голос твой, вода свежа,  
и в глиняный кувшин, лоснящийся глазурью,  
луна вонзается, дрожа.

## Зной

Я стер со лба уколы капель жгучих  
и навзничь лег на скользкий теплый скат,  
где голосами сплюснутых цикад  
гремело солнце в сосенках пахучих.

И я поплыл в пылающую тьму  
дня южного – под пьяный плеск тимпана,  
под лепет флейт, и рот пурпурный Пана  
прижался жадно к сердцу моему.

Я здесь очень много написал. Между прочим – две драмы, «Дедушка» и «Полюс». Первая будет в альманахе «Гамаюн» – вторая в след.<ующем> номере «Русской мысли».

*В.*

**2. 8 ноября 1923 г.**  
**Берлин – Берлин, Ландхаусштрассе, 41**

8-xi-23

Как мне объяснить тебе, мое счастье, мое золотое, изумительное счастье, насколько я весь твой – со всеми моими воспоминаниями, стихами, порывами, внутренними вихрями? Объяснить – что слова не могу написать без того, чтобы не слышать, как произнесешь ты его, и мелочи прожитой не могу вспомнить без сожаленья – такого острого! – что вот мы не вместе прожили ее, будь она самое, самое личное, непередаваемое, а не то просто закат какой-нибудь, на повороте дороги, – понимаешь ли, мое счастье?

И я знаю: не умею я сказать тебе словами ничего, а когда по телефону – так совсем скверно выходит. Потому что с тобой нужно говорить – дивно, как говорят, например, с людьми, которых больше нет, – дивно, понимаешь, в значенье чистоты и легкости и душевной точности, а я – je ratauge ужасно. Меж тем тебя можно ушибить некрасивым уменьшительным – оттого что ты вся такая звонкая, как морская вода, хорошая ты моя.

Я клянусь – и...<sup>91</sup> клякса тут ни при чем – я клянусь всем, что мне дорого, всем, во что я верю, – я клянусь, что *так*, как я люблю тебя, мне никогда не приходилось любить, – с такою нежностью – до слез – и с таким чувством сиянья. На этом листке, любовь моя, я как-то (Твое лицо межд)<sup>92</sup> начал писать стихи тебе, и вот остался очень неудобный хвостик – я спотыкнулся. А другой бумаги нет. И я больше всего хочу, чтобы ты была счастлива, и мне кажется, что я бы мог тебе счастье это дать – счастье солнечное, простое – и не совсем обыкновенное.

И ты должна простить меня за мелочность мою – за то, что я с отвращеньем думаю о том, как – *practically* – я буду завтра отсылать это письмо, а вместе с тем готов отдать тебе всю кровь мою, коли нужно было бы, – трудно это объяснить – звучит плоско, – но это так. Вот, скажу тебе – любовью моей можно было бы заполнить десять веков огня, песен и доблести – десять целых веков, громадных и крылатых, полных рыцарей, въезжающих на пламенные холмы, – и сказаний о великанах – и яростных Трой – и оранжевых парусов – и пиратов – и поэтов. И это не литература, ибо, если перечтешь внимательно, увидишь, что рыцари оказались толстыми.

Нет – я просто хочу тебе сказать, что без тебя мне жизнь как-то не представляется – несмотря на то, что думаешь, что мне «весело» два дня не видеть тебя. И знаешь, оказывается, что вовсе не Edison выдумал телефон, а какой-то другой американец – тихий человечек, фамилию которого никто не помнит. Так ему и надо.

---

<sup>91</sup> В рукописи клякса.

<sup>92</sup> Начало стихотворной строки написано перпендикулярно основному тексту, который ее окружает, и взято в скобки.

У меня прошение за. Ви твои претензия  
 облаки. Как же мне уткаться тебе,  
 моя скака; мне солнце з. Понимаешь  
 если бы я меньше любил бы тебе, то  
 я должен был бы уткаться. А так —  
 — просто смысла нет. И умирать мне  
 не хочется. Есть два рода, "будь это будет"  
 Тревожное и волевое. Прости меня — но я  
 твоя вторична. И ты не можешь отойти  
 у меня впрямь в то о чем я думаю  
 боюсь. такое это было бы счастье...  
 Вот опять — хвостик. Это кусочек  
 моей котки — не вошедший в нее.  
 Записал как-то чтобы не забыть  
 и вот телери — заказа.  
 Все это я пишу лежа в постели,  
 открыв книгу. листки обг. ороменую  
 работу на ступи. Когда я долго ковыляю  
 кешего — то у одного из портретов  
 кристаллы — (какая то пробаушка  
 Очки хорошо стали — козюшка) да даю тебе  
 этого — что я дошла до конуса  
 любви моя, стоконный конус...  
 Не знаю разберешь ли ты это буграментное  
 письмо... но все равно... Я люблю тебе,  
 Буду ждать тебе завтра в 11. вечера — а не то  
 позвони мне позит в 8 часов. В.

старинная любительности россии  
 сталине просто... твоя сердце ирландии;  
 сталине какашка пометом

Слушай, мое счастье, — ты больше не будешь говорить, что я мучу тебя? Как мне хочется тебя увести куда-нибудь с собой — знаешь, как делали этакое старинные разбойники: широкая шляпа, черная маска и мушкет с раструбом. Я люблю тебя, я хочу тебя, ты мне невыносимо

нужна... Глаза твои – которые так изумленно сияют, когда, откинувшись, ты рассказываешь что-нибудь смешное, – глаза твои, голос твой, губы, плечи твои – такие легкие, солнечные...

Ты пришла в мою жизнь – не как приходят в гости (знаешь, «не снимая шляпы»), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отраженья, все дороги – твоих шагов. Судьба захотела исправить свою ошибку – она как бы попросила у меня прощение за все свои прежние обманы. Как же мне уехать от тебя, моя сказка, мое солнце? Понимаешь, если б я меньше любил бы тебя, то я *должен* был бы уехать. А так – просто смысла нет. И умирать мне не хочется. Есть два рода «будь что будет». Безвольное и волевое. Прости мне – но я живу вторым. И ты не можешь отнять у меня веры в то, о чем я думать боюсь – такое это было бы счастье... Вот опять – хвостик.

Да: старомодная медлительность речей,  
стальная простота... Тем сердце горячей:  
сталь, накаленная полетом...

Это кусочек моей поэмы – не вошедший в нее. Записал как-то, чтобы не забыть, и вот теперь – заноза.

Все это я пишу, лежа в постели, опирая листок об огромную книжку. Когда я долго ночью работаю, то у одного из портретов на стене (какая-то прабабушка нашего хозяина) делаются пристальные пренебрежительные глаза. Очень хорошо, что я дошел до конца этого хвостика; очень мешал.

Любовь моя, спокойной ночи...

Не знаю, разберешь ли ты это безграмотное письмо... Но все равно... Я люблю тебя. Буду ждать тебя завтра в 11 ч. вечера – а не то позвони мне после 9 часов.

В.

### 3. 30 декабря 1923 г. *Прага – Берлин*

30-xii-23  
*Praha Třída Svornosti, 37*  
*Smichov*

Дорогое мое счастье,

какая ты была прелестная, хорошая, легкая на этом суматошном вокзале... Ничего я не успел сказать тебе, счастье мое. Но из окна вагона я видел тебя, и почему-то, глядя, как ты стоишь, локтями прижимая шубу и засунув руки в рукава, – глядя на тебя, на желтое стекло в вокзальном окне за тобой и на твои серые ботинки – один в профиль, другой en trois quarts, – почему-то именно тогда я понял, как я люблю тебя, – и затем ты так хорошо улыбнулся, когда заскользил поезд. А знаешь – ехали мы совершенно исключительно плохо. Вещи наши были рассыпаны по всему поезду, и до границы пришлось торчать стоймя, на сквозняке. Мне так хотелось показать тебе, как забавно пристал к внутренней части тех, знаешь, кожаных фартуков, которые соединяют вагоны, снег мерзлый, похожий на серебряную кукурузу, – ты бы оценила.

Представь себе три комнатки: мебель – некрашенный стол, дюжина стульев, таящих занозы, семь постелей – сплошь деревянных, без матрацов, с перекладинами вместо днища, и одной кушетки, купленной по случаю. И все. На перекладки протягивается тюфяк – но чувствуешь насквозь деревянные ребра эти, так что утром такая ломота... а в кушетке обитают клопы, которые исчезли было после скипидарной атаки, но вот сегодня появились на потолке, откуда они будут ночью, как жаворонки, падать на спящих – на меня и на Кирилла: я ему рассказал, что двенадцати (через «е» правильнее) клопов довольно, чтобы умертвить человека, но, вспомнив, как ты чудно говоришь: он ведь маленький! – взял, как говорится, слова свои обратно. Добавь ко всему этому неистовый холод в комнатах и нежеланье двух изразцовых печь топиться (что, конечно, для них было бы неприятно), и ты получишь изображение нашей жизни здесь. Денег нет совершенно, вилок тоже, так что приходится питаться бутербродами. При первой возможности я перевезу маму обратно в Берлин, куда сам приезжаю 5 апреля – минус восемьдесят пять дней (высчитала?). Прагу я еще не видал – да вообще мы с нею в ссоре.

Слушай: как только буду иметь возможность, позвоню тебе отсюда по единственному телефону, находящемуся в этом городе: в доме Крамаржа. Постараюсь – двадцать третьего <декабря> (ст.<арый> ст.<иль>) в 7 часов.

Я тебя очень люблю. Нехорошо люблю (не сердись, мое счастье). Хорошо люблю. Зубы твои люблю. Сейчас я работал, сидел у меня Морн, – он просит передать тебе «сердечный привет». Любовь моя, знаешь, мне просто очень скучно без тебя. У меня такое чувство, будто ты все стоишь на вокзале, как я видел тебя на последях, – точно так же, как тебе, вероятно, все кажется, что я стою у вагонного окна, в котелке. До суда – испанский твой роман прелестен, дальше – плохо. Завтра передам пакет.

Как мне хотелось бы, чтоб ты сейчас мне говорила – проникновенно так: но ты ведь мне обещал?! Люблю тебя, мое солнце, моя жизнь, люблю твои глаза – закрытые, все хвостики твоих мыслей, твои протяжные гласные, всю душу твою от головы до пят. Я устал. Ложусь. Люблю тебя.

В.

## 4. 31 (?) декабря 1923 г. Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

3<1>-xii-23  
Třída Svornosty, 37  
Smichov Praha

От тебя еще ни слова, моя любовь, – вероятно, завтра будет. А если нет? Знаешь, я не думал, что я так заскучаю по тебе («Ах, ты не думал!..»). Нет, – это просто оборот речи, чтобы сказать тебе, моя хорошая, мое счастье, how I long for you (как ты мне нужна). А меж тем я отсюда выберусь только 17-го – хочу кончить моего Морна, а то еще один переезд, и он рассыплется. Это человек, который совершенно не переносит чувство новоселья. Вчера за весь день я написал всего *две строчки*, и то я их вычеркнул сегодня. Сейчас пошло неожиданно хорошо, так что завтра кончу первую сцену третьего акта. Я почему-то очень *touchy* относительно этой вещи. Зато с каким наслаждением я читал ее двум людям – тебе и вот на днях маме. Третий человек, который понимал каждую запятую, оценивал мне дорогие мелочи, – был мой отец. Мама всегда вспоминает это, когда я читаю что-нибудь, – и больно.

Только что я написал Татарину, прося его 6-го или 7-го поместить в «Руле» объявление, что я (имя рек) ищу комнату с пансионом в русской семье. Иначе выйдет слишком дорого. Твой пакет я, к сожаленью, оставил в поезде. Я в «полном отчаянии»! На самом же деле я третьего дня отнес его по адресу, – который ты написала едва слышным шепотом... Знаешь, что мне сейчас захотелось? Видеть, как ты приседаешь на одно колено, всходя с мостовой на панель (Аставь!..). Я тебя сегодня так люблю, что, кажется, пишу глупости.

Вот что я пока заметил в Праге: очень много ломовых и на магазинах такие надписи, как когда француз вставляет в роман русские словечки, желая щегольнуть, – и щеголяет безграмотно. Кроме того, здесь есть широкая река – подо льдом. Кое-где расчищены площадки под каток. На каждом таком ледяном квадрате катается по одному мальчишке, ежеминутно шлепаясь. На него смотрят зеваки с громадного старинного моста, по которому влачится ломовик за ломовиком. У одного конца моста стоит толстый человек в мундире, и каждый прохожий должен платить ему медяк за право перехода на другую сторону. Обычай старинный, феодальный. Трамваи маленькие, краснобокие, и внутри, на крюках, висят последние журналы – для общего пользования. Хороший город?

Вчера мне один профессор рассказывал, что когда его дочке было всего несколько месяцев, она часто притворялась, что падает в обморок. Потом, когда она немного подросла, он ее пугал следующим образом: он сидит, читает, она играет на полу. Вдруг он опускает книгу, делает страшные глаза, проводит рукою по лбу и говорит медленно: «Знаешь, Машенька, я, кажется, превращаюсь в орла...» Она – в слезы: «Вот всегда тебе что-нибудь кажется, когда никого нет в квартире...»

Завтра в семь часов я постараюсь с тобой «созвониться». Это будет, вероятно, мучительно, – но мне хочется услышать хоть краешек твоего голоса. А что-то будет в Берлине, моя любовь? Поедешь ли ты со мной в Америку? О, если б ты знала, как мне противна этакая угловатая жизнь, денежная суета, отвратительные переводы, над которыми нужно корпеть, – и гроши, гроши... А я ведь *bourgeois* в житейских вещах. Автомобили Крамаржа, его мраморная ванна, слуги – меня бесят... Buffon надевал кружевные маншеты <sic>, когда садился работать. Мне, понимаешь, нужны удобства не ради удобств, а затем, чтоб не думать о них – и только писать, писать – и развернуться, громыхнуть... А в конце концов – кто знает, – может быть оттого, что я пишу «Господина Морна», сидя в шубе на арестантской кровати, при свете

огарка (это, впрочем, почти поэтично), он выйдет еще лучше. Не терпится мне прочитать тебе пятую сцену.

Знаешь ли ты, что ты – мое счастье? Ты вся создана из маленьких стрелчатых движений – я люблю каждое из них. Думала ли ты когда-нибудь о том, как странно, как легко сошлись наши жизни? Это, вероятно, у Бога, скучающего в раю, вышел пасьянс, который выходит нечасто. Я люблю в тебе эту твою чудесную понятливость, словно у тебя в душе есть заранее уготовленное место для каждой моей мысли. Когда Монтекресто <sic> приехал в купленный им дворец, он увидел, между прочим, на столе какую-то шкатулку и сказал своему мажордому, который приехал раньше, чтобы все устроить: «Тут должны быть перчатки». Тот просиял, открыл эту ничем не замечательную шкатулку, и действительно: перчатки. Я немного запутался в образе – но это как-то относится к тебе и ко мне. Знаешь, я никому так не *доверял*, как тебе. Во всем сказочном есть черта доверчивости.

Я боюсь, это вышло очень спотыкающееся письмо. И не совсем грамотное. Я за последнее время столько говорю пятистопным ямбом, что трудно писать прозу. Слушай: позвони как-нибудь на бывшую мою квартиру в полночь или даже позже. Я то же просил сделать Татаринновых и Струве. Жильцов хочу обрадовать.

Целую тебя, мое счастье, – и ты помешать мне не можешь...

*В.*

**5. 8 января 1924 г.**  
***Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41***

Hullo! (слегка задыхаясь). Здра-аствуй (тихо и мягко – такое слово-подушечка).

Нет, не удалось мне позвонить тебе, моя любовь... Зато получил сегодня – наконец – твое чудное (звездное!) письмо. Ты знаешь, мы ужасно похожи друг на друга... Например, в письмах: мы оба любим 1) вставлять незаметно иностранные слова, 2) выдерживать из любимых книг, 3) переводить впечатление одного чувства (например, зрительного) на впечатление другого чувства (например, вкусового), 4) просить в конце извинение за мнимый вздор; и еще многое другое. Ты очень хорошо написала про себя, моя хорошая: я тебя *увидел*. И захотелось еще больше растрепать. А в маске ты действительно не смеешь ходить. Ты – моя маска... Хочешь знать, какой у меня вид из окна, благо любишь снег? Так вот: широкая белизна Молдавы, и по белизне этой с одного берега на другой проходят черные силуэтики людей, похожие на нотные знаки: так, например, фигурка какого-нибудь мальчишки тянет за собой значок диеза: санки. За рекой – снежные крыши в далеком легком небе; а направо – тот феодальный мост, о котором я уже тебе писал.

Морн растет, как пожар в ветряную ночь! У меня осталось всего две сцены сочинить, причем уже есть самый конец последней – восьмой – сцены. Я пишу Лукашу, что это все – блистательный пустяк, но не верю... Впрочем...

Господи, как я хочу тебя видеть... Глаза мои милые... Не знаю, что с тобой сделаю при встрече. Не могу дольше писать сегодня – надо идти на вечер. Меня вывозят в свет! Из моих знакомых тут только вечно юный Сергей Маковский. Люблю тебя. Бесконечно.

*В.*

Только что вернулся с вечера у Крамаржа. Непременно должен тебе привести диалог, который там «имел место» (галлицизм).

*Дама* (пожилая)

А как вам нравится Прага? (следует несколько строк относительно красот Праги. Пропускаю. Затем:)

Вы поступаете в здешнюю гимназию, не правда ли?

*Я*  
???

*Дама*

Ах, простите, – у вас такое молодое лицо... Значит, вы будете слушать лекции. Какой факультет?..

*Я* (с грустной улыбкой)

Я кончил университет два года тому назад. Два факультета – естественный и филологический.

*Дама* (теряется)

А... вы, значит, служите?

*Я*  
Музе.

*Дама* (немного оживает)

Ах, вы – поэт. И давно пишете? Скажите, вы читали Алданова – занятно, не правда ли? Вообще, в наше трудное время книги очень помогают! Возьмешь, бывало, Волошина или Сирина – и сразу на душе легче. Но сейчас, знаете, книги так дороги...

*Я*

Да, чрезвычайно дороги (и скромно удаляюсь инкогнито).

Веселенький разговор? Я тебе привел его *буквально*.

Счастье мое, знаешь, завтра ровно год, как я разошелся с невестой. Жалею ли? Нет. Это должно было так случиться, чтоб я мог встретить тебя. После Господина Морна я напишу второе – заключительное – действие «Скитальцев». Вдруг захотелось. А сейчас тушу свечу и – спать. Нет, еще почитаю немножко. Люблю тебя, моя хорошая. Пиши мне почаще – а то я не могу. И семнадцатого встретить на вокзале.

*В.*

**6. 10 января 1924 г.**  
**Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41**

10-1-24  
Smichov, Třída Svornosty, 37  
Prague

Любовь моя, сегодня я был уверен, что влетит ко мне сестра с криком: «Письмо от Madame Bertrán!» – ан нет. Очень мне грустно стало... «Что письма? – белые заплатки на черном рубище разлук» (парафраза известного стиха господина Лермонтова).

Вчера был вечер, сошедший с фламандского полотна, неподвижный в туманной поволоче. Над снегами, в тумане, закат просвечивал нежно и смутно, как непроявленные цвета декалькомании (знаешь?). Перейдя реку по льду, я поднялся на холм – белый, в черных кустах голой бузины; холм с одной стороны обрывается вниз крепостной стеной, а на вершине его стоит темный двухбашенный собор, схваченный кое-где червонной резьбой, – словно лег славянский отблеск на готическую геометрию. Тут же, за чугунной оградой, находится и католическая скудельница: ровные могилки, золотые распятия. Над дверью храма – дуговой барельеф, оканчивающийся по бокам двери двумя головами – лепными выпуклыми лицами двух... шутов. У одного крупные, лукавые черты, лицо другого искажено кривою усмешкой презренья; оба – в тех лопастьных кожаных шапках-капюшонах (напоминающих одновременно и крылья летучей мыши, и петушиный гребень), в которых ходили средневековые шуты. На других дверях я нашел еще несколько лиц таких – и выраженье у всех разное: у одного, например, прекрасный, строгий профиль – под складками грубого убора: ангел-шут. Мне нравится думать, что ваятель, обиженный нещедрой наградой, скупостью хмурых монахов, которых ему поручено было изобразить на стенах, обратил их лица, не меняя сходства, в лица шутов. А может быть, – это есть мне милый символ, – что только через смех смертные попадают в рай... Ты согласна?

Я обошел собор по скользкой тропе, между сугробов. Снег был легкий, сухой:хватишь в горсть, кинешь – он пылью рассыпается в воздухе, словно летит назад. Небо померкло. В нем стояла тонкая, золотая луна: половинка разбитого венчика. Шел я по краю крепостной стены. Внизу в густеющем тумане лежала старая Прага. Громоздко и смутно теснились снежные крыши; дома казались свалены кое-как, – в минуту тяжелой и фантастической небрежности. В этой застывшей буре очертаний, в этой снежной полумгле горели фонари и окна теплым и сладким блеском, как обсосанные пуншевые леденцы. В одном месте только виднелся и алый огонек: капля гранатового соку. И в тумане кривых стен, дымных углов я угадывал древнее гетто, мистические развалины, переулок Алхимиков... А на обратном пути я сочинил небольшой монолог, который Дандилио скажет в предпоследнем действии:

...вещество  
должно истлеть, чтоб вещество воскресло, –  
и, если символ древний разгадать, –  
выходит так, – вы, Тременс, проследите:  
пространство – Бог, и вещество – Христос,  
и время – Дух. Отсюда – вывод: мир  
божественен, и потому все – счастье,  
и потому должны мы распевать,  
работая (ведь бытие и значит  
на этого работать властелина

в трех образах: пространство, вещество  
и время), но кончается работа,  
и мы на праздник вечности уходим,  
дав времени воспоминанье, облик –  
пространству, веществу – любовь...

На что Тременс отвечает: «Крайности сходятся, я с вами согласен, – но то-то и есть, что я бунтую против властелина – бытие: не хочу работать на него, а сразу отправиться на гулянки».

Несмотря на мою литературу, я тебя очень люблю, мое счастье, – и очень сержусь на тебя, что ты не пишешь мне. Все эти дни я нахожусь в напряженном и восторженном настроении, так как сочиняю «буквально» не переставая.

Мне говорили, что в «Руле» есть заметка госпожи Ландау о нашем агасферическом чтении. Ты читала?

До скорого, моя хорошая. Ты меня не «разлюбила»?

*В.*

**7. 12 января 1924 г.**  
**Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41**

12-1-24

12 часов ночи

«Ты безглагольна, как все, что прекрасно...» Я уже свыкся с мыслью, что не получу от тебя больше ни одного письма, нехорошая ты моя любовь. Посылаю тебе мой лик, который случайно нашел у мамы (а у нее еще один такой же. Снялся я два года тому, в Кэмбридже of sweet memories, накануне экзамена, – чтобы в случае «провала» найти знак обреченности, фатальную черточку на своем изображении. Но, как видишь, я горд и беспечен.

Вчера наконец приехала наша мебель u.s.w. Оказывается, она пространствовала окружным путем (Гамбург – Америка – Сингапур – Константинополь) – чем и объясняется задержка. Теперь квартира наша немного повеселела, т. е. сперва было в каждой комнате (крошечной!) по одному стулу, теперь их целый полк – что напоминает вид комнаты, где показывают детям волшебный фонарь. (Мокрое полотно и длиннейшие объяснения при каждой картине: я ненавидел это в детстве.) Знаешь ли, что на обложке первого номера «Граней» наши фамилии рядом. Символ?

Сейчас у меня сидел Кадашев-Амфитеатров и рассказывал о знаменитых опечатках: в одной провинциальной газете было напечатано вместо «Богородицы» – «пуговица», – власти, конечно, не заметили бы, – но газета на следующий день извинилась за ошибку – и тут ее мгновенно прихлопнули. А Немирович-Данченко поругался со «Сполохами» за то, что в одном его рассказе, в самом драматическом месте, вместо «Бэппо, седлай коня!» было уютно и скромно напечатано «Бэппо, сделай коня!». Вот какие бывают истории...

Лампы тоже приехали, так что сейчас бумага и моя пишущая рука купаются в конусе света.

Сегодня произошло несчастье: мы пошли навещать с мамой и Кириллом одного больного профессора. Кирилл тащил санки. Попался мне на глаза высокий и крутой снежный скат, – я решил показать, что значит скатываться. Лег ничком на санки, посадил его к себе на спину – и оттолкнулся. (Меж тем собралась толпа зевак.) На половине пути что-то хрястнуло – и я уже летел без салазок и без Кирилла в вихре снегу. Оказалось: одна из полозьев не выдержала, сломалась (я очень потолстел за это время). Плач и упреки продолжались несколько часов. А вот что говорит Морн, прощаясь с Мидией:

...ты уйдешь.

Забудем мы друг друга. Но порою  
название улицы или шарманка,  
заплакавшая в сумерках, напомнят  
живее и правдивее, чем может  
мысль воскресить и слово передать,  
то главное, что было между нами,  
то главное, чего не знаем мы...  
Тогда-то в час, когда душа почувет  
очарование мелочи былой,  
поймет душа, что в вечности все вечно:  
мысль гения и шуточка соседа,  
Тристаново страданье колдовское  
и самая летучая любовь.

...вроде твоей (сердишься?). Душка моя, я тебя сегодня очень хорошо, очень радостно люблю – ты не знаешь как...

Вчера я видел тебя во сне – будто я играл на рояли, а ты переворачивала мне ноты...

*В.*

## 8. Не позднее 14 января 1924 г. *Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41*

*Число – неинтересно.*

*Адрес – все то же, «свороности».*

Ты не находишь ли, что наша переписка несколько... односторонняя? Я так обижен на тебя, что вот начинаю письмо без обращения. Сперва я решил тебе послать просто чистый лист бумаги с маленьким вопросительным знаком посередине, но потом пожалел марку. Правда – почему ты не пишешь мне? Это мое пятое письмо – а от тебя я получил только одно. Или, может быть, ты больна? Или опять – «острые углы»? Или, наконец, ты так поступаешь с целью, чтоб я тебя забыл? Удивительно плохо я пишу сегодня.

Мне приходится отложить мой приезд в Берлин на неопределенный срок ввиду бесконечной медлительности, с которой я работаю. Иногда после целого дня творческих потуг мне удается написать всего две-три строки. Я выкинул из второй сцены рассказ Клияна и все, что относится к этому месту. Сейчас барахтаюсь в мутной воде сцены шестой. Устаю до того, что мне кажется, что голова моя кегельбан, – и не могу уснуть раньше пяти-шести часов утра. В первых сценах – тысяча переделок, вычерков, добавок. И в конце концов буду награжден очередной остротой: «...не лишен поэтического дара, но нужно сознаться...» и т. д. А тут еще ты – молчишь...

Но – дудки! Так развернусь, что, локтем заслонившись, шарахнутся боги... Или голова моя лопнет, или мир – одно из двух. Вчера я ел гуся. Погода морозная: прямые розовые дымки и воздух вкуса клюквы в сахаре.

Семнадцатое число близится, но на какую берлинскую улицу я в этот день попаду – где буду жить, – не вею. Татаринцев не пишет, мой boss не пишет, Дроздов не пишет, ты не пишешь... Я один пишу – и то неважно.

Повторяю, что это очень нехорошо с твоей стороны. А если ты меня не любишь – скажи прямо. Искренность раньше всего! Впрочем: ты – мое счастье.

*В.*

**9. 16 января 1924 г.**  
**Прага – Берлин, Ландхауситрассе, 41**

16-1-24

Спасибо, моя любовь, за твои два изумительных письма. Вот глупый афоризм, который я придумал: пером пишет ум, карандашом – сердце.

Счастье мое, я и 17-го не могу приехать. Кроме Трагедии, есть другая побочная причина, – которая, к сожалению, важнее первой. Дело в том, что, говоря грубо, я жду из Берлина денег (за те переводы). Мне обещали их прислать 7-го, – с тех пор прошло десять дней – и я все жду. Как только я получу их, в тот же день я и уеду отсюда, – а это может случиться хоть завтра. У меня кое-что с собой было, но вчера пришлось все ухлопать на хозяйственные нужды; меж тем приехать в Берлин с пятью марками, на ура, – опасно. Трагедия же не сегодня завтра дойдет до такой точки, после которой ее можно будет кончать где угодно. Я так раздражен всем этим, что с трудом пишу тебе.

Если бы я встретил того косматого троглодита, который первый додумался до того, чтобы пойти к соседу по пещере предложить ему оленью шкуру за горсть самоцветов, я бы охотно оторвал ему голову. Милая ты моя любовь, радость моя, вот как вышло! Я не приезжал из-за одной глупой причины, а теперь появилась другая, еще глупее, – почти похожая на предлог. И теперь занимает меня только – ты, – никаких Морнов мне не нужно. Да, новый год начался довольно коряво.

Прости, что я писал тебе глупости, но мозги у меня растрепались, выпали шпильки: я какой-то простомозговый, как бывают люди простоволосые... Понимаешь ли?

Подожду еще денька два-три и отправлюсь в Берлин пешком. Когда бывает солнце, ты – пушистая. Я все еще не знаю, что сделаю с тобой, когда приеду. А насчет этих самых мудрецов ты меня не переубедишь! Я читал Нилуса и Краснова – *c'est tout dire*. Знаешь ли, например, что землетрясения в Японии устроили масоны? Люблю тебя действительно больше солнца.

В.

**Виденье<sup>93</sup>**

В снегах полуночной пустыни  
мне снилась мать всех берез,  
и кто-то – движущийся иней –  
к ней тихо шел и что-то нес:

нес на плече, в тоске высокой,  
мою Россию, детский гроб;  
и под березой одинокой,  
в бледно-пылящемся сугроб,

склонился, в трепетанье белом,  
склонился, как под ветром дым.  
Был предан гробик с легким телом

---

<sup>93</sup> Написано на обороте письма.

снегам чистейшим и немым.

И вся пустыня снеговая,  
молясь, глядела в вышину,  
где плыли тучи, задевая  
крылами тонкими луну.

В просветы лунного мороза  
то колебалась, то в дугу  
сгибалась голая береза,  
и были тени на снегу:

Там на могиле этой снежной  
сжимались, разгибались вдруг,  
заламывались безнадежно  
как будто тени Божьих рук.

И поднялся, и по равнине  
в ночь удалился навсегда  
лик Божества, виденье, иней,  
не оставляющий следа...

*Вл. Сирин*

**10. 17 января 1924 г.**  
**Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41**

17-1-24

Любовь моя, я возвращаюсь в среду, 23-го сего месяца. Это уже окончательно. В «Руле» уже появилось мое объявление. Фамилия моя напечатана так жирно, что я подумал было: известь о смерти. Если и тебе попадется на глаза комната с пансионом не дороже «доллара» в день (а желательно: 3 марки), то сообщи этому самому господину Н. Я, знаешь, так привык к своему псевдониму, что странно видеть истинное мое название.

Сегодня – мороз и солнце, отчего снег на крышах кажется слоем лиловой гуаши и в воздухе отчетлив каждый дымок. Мне осталось полторы сцены до конца моей пресловутой трагедии; в Берлине попробую издать. А знаешь, бедный наш Якобсон третьего дня бросился в Шпрей, пожелав, как Садко, дать маленький концерт русалкам. К счастью, его подводный гастроль был прерван доблестным нырком «зеленого», который вытащил за шиворот композитора с партитурой под мышкой. Лукаш мне пишет, что бедняга сильно простужен, но в общем свежен. Так-то.

Я никогда не думал, что буду грезить о Берлине, как о рае... земном (рай небесный, пожалуй, скучноват – и столько там пуха, серафимского, что, говорят, запрещается курить. Иногда, впрочем, сами ангелы курят – в рукав, а когда проходит архангел – папиросу бросают: это и есть падающие звезды). Ты будешь ко мне приходить раз в месяц чай пить. Когда же заработок мой лопнет – америкну, с тобою вместе. Только что обе сестрицы мои отправились держать экзамен, – и я сочинил для них «песню о провале», после которой они расплакались. Люблю тебя.

Перечел я за эти дни всего Флобера. Прочти – или перечти – «Madame Bovary». Это самый гениальный роман во всемирной литературе, – в смысле совершенной гармонии между содержанием и формой, – и единственная книга, которая, в трех местах, вызывает у меня горячее ощущение под глазами яблоками: *lacrimae arsi* (это не по-латыни).

Мне сегодня почему-то кажется, что мы с тобой скоро будем очень счастливы. «Багряной лентой заката твой стан, как шелком, обовью» (кажется, так) – что, впрочем, не особенно модно, любовь моя.

Сейчас опять засяду за Морна. Боже, как хочется тебе почитать... Неистово и бесконечно люблю тебя, – почерк твой, похожий на твою походку, голос твой – цвета осторожной зари. Целую тебя, глаза твои целую, – и вдоль черной тесемкой...<sic> Люблю.

В.

**11. 24 января 1924 г.**  
**Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41**

Любовь моя дорогая,

я приезжаю в Берлин в воскресенье, 27-го, в пять часов вечера, на Анхальтерский вокзал.

Задержала меня причина денежная. К тому же заболела мама, и я сам сильно простудился, переходя Молдаву по тающему льду. Насморк мой легчает, маме тоже лучше, так что *ничего* не может мне помешать уехать в воскресенье. Мне кажется, счастье мое, что ты на меня сердишься за мою неповоротливость? Но если бы ты знала, сколько мелочей стесняют меня, сколько глупых колючек на каждом шагу... Семья моя вынуждена переехать с этой квартиры на другую – вот тебе снова хлопья хлопот на плечи – и унылые разговоры. Одно меня радует: послезавтра застрелится Морн, мне осталось каких-нибудь пятьдесят-шестьдесят строк, в последней – восьмой – сцене. Конечно, придется еще долго подпиливать и лаковать всю вещь – но главное будет сделано. Что до пантомимы нашей, то ее облюбовала некая Аста Нильсен – но просит кое-что изменить в первом действии. Другая наша пантомима, «Вода живая», пойдет на днях в «Синей птице».

Я неимоверно устал от своей работы. Мне снятся ночью рифмованные сны, и весь день ощущаю привкус бессонницы. Толстая моя черновая тетрадь пойдет к тебе – с посвящением в стихах. Косвенно, какими-то извилистыми путями – подобными истории мидян – эту вещь внушила мне ты; без тебя я бы этак не двинул, говоря языком цветов.

Но я устал. Когда мне было семнадцать лет, я в среднем писал по два стихотворенья в день, из коих каждое отнимало у меня минут двадцать. Качество их было сомнительное, но я лучше писать и не старался, считая, что я творю маленькие чудеса, а при чудесах думать не надобно. Теперь я знаю, что действительно разум при творчестве – частица отрицательная, а вдохновенье – положительная, но только при тайном соединении их рождается белый блеск, электрический трепет творенья совершенного. Теперь, работая по семнадцати часов, я в день могу написать не больше тридцати строк (которых я после не вычеркну), и это одно есть уже шаг вперед. Я помню себя туманным и взволнованным, в нашем грибном березняке, подбирающим случайные слова, чтобы выразить случайную мысль. Были у меня слова любимые, как, например, «блики», «прозрачный», и странная склонность рифмовать «лучи» и «цветы», хотя в женских рифмах я был очень щепетилен. Впоследствии – и поныне – у меня бывали настоящие филологические романы, когда в продолжение месяца – и даже больше – я носился с одним определенным словом, нежно облюбовав его. Так, недавно у меня была маленькая история со словом «ураган», – может быть, заметила...

Обо всем этом я рассказывать могу только тебе. Я все тверже убеждаюсь в том, что *the only thing that matters* в жизни, есть искусство. Я готов испытать китайскую пытку за находку единого эпитета, – и в науке, в религии меня волнует и занимает только краска, только человек в бачках и в цилиндре, опускающий – за веревку – трубу первого смешного паровоза, проходящего под мостом и влачащего за собой вагончики, полные дамских восклицаний, движенья маленьких цветных зонтиков, шелеста и скрипа кринолин; или же – в области религии – тени и красные отблески, скользящие по напряженному лбу, по жилистым, дрожащим рукам Петра, греющегося у костра на холодной заре, когда кричат то далеко, то близко вторые петухи, – и проходит ветерок, сдержанно кланяются кипарисы...

Сегодня я рассматривал громадный коленкоровый план (который с другими бумагами, к счастью, остался у меня) моего имени и мысленно гулял по тропинкам; и сейчас у меня такое чувство, словно и вправду я только что побывал у себя. Сейчас, должно быть, там сугробы,

ветки в белых рукавчиков<sup>94</sup> и очень явственны звуки за рекой – кто-то колет дрова... А сегодня в газетах весть о том, что Ленин умер.

Любовь моя, какое счастье снова увидеть тебя, услышать пенье твоих гласных, моя любовь. Приди на вокзал – а то вот что случилось (– только не сердись), я не могу вспомнить (– ради Бога, не сердись!), я не могу вспомнить (– обещай, что не будешь сердиться?), не могу вспомнить номер твоего телефона!!! Помню, что была в нем семерка – но дальше?..

И поэтому придется, приехав в Берлин, писать тебе, – а как я достану марки на письмо? – ведь я боюсь почтамта!!!

В Берлине мы будем с тобой страшно веселиться. Я здесь вел очень скромную жизнь. Бывал только у Крамаржей – да и то редко, – а сегодня иду проветриться к Марине Цветаевой. Она совершенно прелестная. (Ах... так?)

До скорого, моя любовь, не сердись на меня. Я знаю, что я очень скучный и неприятный человек, утонувший в литературе... Но я люблю тебя.

*В.*

---

<sup>94</sup> Так в рукописи. Возможно, Набоков имел в виду «в белых рукавицах» или «рукавчиках».

## 12. 13 августа 1924 г. *Прага (?) – Берлин*

13–vii<i>–24

Моя прелестная, моя любовь, моя жизнь, я ничего не понимаю: как же это тебя нет со мной? Я так бесконечно привык к тебе, что чувствую себя теперь потерянным и пустым: без тебя – души моей. Ты для меня превращаешь жизнь во что-то легкое, изумительное, радужное, – на все наводишь блеск счастья, всегда разного: иногда ты бываешь туманно-розовая, пушистая, иногда – темная, крылатая, и я не знаю, когда я больше люблю глаза твои, – когда они открыты или когда закрыты. Сейчас одиннадцать часов вечера – я стараюсь всеми силами души увидеть тебя через пространство, мысль моя хлопчет о райской визе в Берлин *via* воздух... Милое мое волнение...

Сегодня я ни о чем другом не могу писать, кроме как о тоске моей по тебе. Мне грустно и страшно: глупые мысли бродят – что ты оступишься, прыгая из подземного вагона, что тебя кто-нибудь заденет на улице... Я не знаю, как проживу эту неделю.

Нежность моя, счастье мое, какие слова мне тебе написать? Как странно, что, хотя дело моей жизни – движение пера по бумаге, я не умею тебе сказать сейчас, как люблю, как жажду тебя... Такой трепет – и такой дивный покой: тающие, налитые солнцем облака, – громады счастья. И я плыву с тобой, в тебе, пламенею и сливаюсь, и вся жизнь с тобой – как движение облаков, – воздушные, тихие выпады их и легкость и плавность и райское разнообразие в очертаниях, в оттенках, – любовь моя необъяснимая. И я не могу выразить эти перистые, эти кучевые ощущения.

Когда мы с тобой последний раз были на кладбище, я так пронзительно и ясно почувствовал: ты все знаешь, ты знаешь, что будет после смерти, – знаешь совсем просто и покойно, – как знает птица, что, сорхнув с ветки, она полетит, не упадет... И потому я так счастлив с тобой, хорошая моя, маленькая моя. И вот еще: мы с тобой совсем особенные; таких чудес, какие знаем мы, никто не знает, и никто *так* не любит, как мы.

Что ты сейчас делаешь? Мне почему-то кажется, что ты в кабинете: вот встала, прошла к двери, сдвигаешь створки и замираешь на мгновение, – ждешь, не раздвинутся ли. Я устал, я ужасно устал, спокойной ночи, моя радость. Завтра напишу тебе о всяких будничных вещах. Любовь моя.

*В.*

## 13. 17 августа 1924 г. *Добржиховице – Берлин*

17–vii<i>–24

Я больше чем думаю о тебе, – я живу о тебе, моя любовь, мое счастье... Уже жду от тебя письма, – хотя знаю, оно запоздает, так как мне должны будут переслать его из Праги сюда. Мы живем с мамой в прекрасной гостинице, где настолько все дорого, что приходится обитать в одной комнате – правда, громадной. Из окна просторный и вольный вид: ряды тополей вдоль реки, за нею обработанные поля – зеленые, бирюзовые, бурые квадраты, – а дальше – лесистые холмы, по которым очень хорошо блуждать: пахнет грибом, и есть мокрая, дикая малина. Народу мало – все пожилые четы пражан, подобные медленным тихим тумбам. Русских нет – слишком для них дорого, но зато неподалеку, там, где в долине краснеют крыши деревушки, живут Чириковы и Цветаева.

Моя дорогая любовь, моя радость бесценная, не забыла ли ты меня? Всю дорогу я ел твои сэндвичи и сливы да персики: очень вкусные, моя любовь. Приехал я в Прагу около девяти и довольно долго трясся в черном рыдване до дому. Квартира у моих маленькая, но отличная – только цену на нее набавляют, а средств нет. Кроме того, с пяти часов утра начинается грохочущая процессия ломовиков, фур, грузовиков, так что спросонья кажется, что весь дом медленно катится куда-то, громяхая и дребезжа.

Оказывается, что Ольге нет смысла ехать в Лайпциг. Если она отсюда уедет, то теряется ее пенсия, да и с пенсией у нее здесь дело налажено: голос у нее необыкновенный, скоро она начнет выступать. Пожалуйста, поблагодари твою двоюродную сестру от моего имени и от имени мамы, – тепло поблагодари.

Я вернусь в Берлин в следующий понедельник или вторник. Хочу набрать побольше уроков, – пособи, если можешь, моя душка. Но, вообще говоря, дела плохи, нечем жить, мама моя очень грустна, нервна, мечтает о том, как бы поехать в Берлин, в Тегель. Я готов был бы камни раскалывать, только бы как-нибудь ей помочь. Те десять долларов, которые я привез, хватят на неделю жизни – очень удобной и спокойной. Только вот дождь бусит сегодня, и приходится на миллиарде кокать.

Солнце мое, трепет мой восхитительный, – вот если бы еще ты была здесь со мной, я был бы совсем счастлив. Тишина здесь, уединение, зелень. В саду тут и там ужасные глиняные аисты и карлики – явно немецкого происхождения. Террасы, фонтанчики. Обедаем и ужинаем на воздухе.

Маленькое поручение: перепиши, пожалуйста (на машинке), стихотворенья «Молитва» (пасхальное) и «Реки». Первое пошли в «Руль», второе тоже в «Руль». Без ошибок, моя радость. Сделаешь? А также напиши мне, появилось ли что-нибудь в «Сегодня».

Надо идти обедать, моя радость. Я люблю тебя. Слышу твой маленький зубной вздох. И шорох твоих ресниц о мою щеку. Счастье ты мое. Если хочешь – позвони Татариновой и скажи, что приезжаю через неделю. И пожалуйста, поклонись от меня твоему отцу.

Целую тебя, моя любовь, глубоко, до обморока, жду письма, люблю тебя, двигаюсь осторожно, чтобы не разбить тебя, звенящую во мне, – так хрустально, так упоительно...

В.

## 14. 18 августа 1924 г. *Добржиховице – Берлин*

18–viii–24

От тебя еще ничего не получил, моя любовь. Но я полон надежды (с маленькой буквы). Ты нежно закусываешь нижнюю губу, потом говоришь: «Я не люблю, когда ты так шутишь...» Простите, моя радость.

Я люблю тебя сегодня какой-то особенной, широкой, солнечной любовью, пропитанной запахом хвой, – оттого что я день-деньской блуждал по холмам, отыскивал изумительные тропинки, с умилением кланялся знакомым бабочкам... В прогалинах летал цветочный пух, как мягкий редкий снежок, тиликали кузнечики, и золотые паутины – колеса солнца – протягивались через дорожку, липли к лицу. И по деревьям пробегал пышный шум, и вдали по склонам скользили тени облаков. Очень было вольно, и светло, и похоже на мою любовь к тебе. А в Мокропсах (такая есть деревушка) стоял на веранде Чириков, маленький, в русской рубахе. Совершенно бездарный старичок.

Я ложусь в девять часов и в девять встаю. Пью ведрами сырое молоко (тоже моя слабость). Нас с мамой разделяет белый шкаф, поставленный посреди комнаты. Спорим по утрам, кому первому брать tub.

Одно только неприятно: есть тут собачка, мохнатенькая, женского пола, с кроткой мордочкой и с хвостом, загнутым трубой. И вот, только ляжем мы спать, собачка эта начинает под окнами тявкать. Остановится и опять. Сперва мама умилялась, потом стала считать секунды между порывами тявканья, потом пришлось закрыть окно. Собачку мы сегодня встретили в саду: она поглядела на нас умно и ласково. Но страшно подумать, что будет ночью. Это хуже пражских ломовиков.

Как ты поживаешь, мое счастье чудесное? Много ли выучила новых слов по-английски? Играешь ли в шахматы? До тошноты хочется мне, чтобы ты сейчас вошла в комнату, и захлопала бы ресницами, и сделалась бы вдруг мягенькой, как тряпочка... Ноги мои милые...

О, моя радость, когда же мы будем жить вдвоем, – в прелестной местности, с видом на горы, с собачкой, тявкающей под окном? Мне так мало нужно: пузырек с чернилами, да пятно солнца на полу, да ты; но последнее совсем немало, и судьба, Бог, серафимы отлично знают это – и не дают, не дают...

Я нарочно сейчас ничего не пишу, давлю метрические строчки, Бог весть откуда выпрыгивающие, учтиво, но твердо отклоняюсь от увещаний музыки. И только перевожу – с тихой яростью – такие фразы коростовецкие: «современная Европа после, с одной стороны, тяжелых передрыг в сфере достижения политических *par excellence*, но тем не менее обреченных, как таковые, на гибель или в лучшем случае забвенье, благ, а с другой стороны –» И так далее. Чума какая-то.

Ну-с, моя любовь, пора спать, девятый час... Что ты делаешь теперь? Спускаешь, может быть, ставни... Я полюбил их напряженный грохот. Спокойной ночи, мое счастье. Нужно ложиться. Собачка уже начала.

В.

**15. 24 августа 1924 г.**  
**Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41**

24–viii–24

Прага

Моя любовь, твои письма – до сих пор четыре письма – просто чудные, – они почти-прикосновенья, а это самое большее, что можно сказать о письме. Я обожаю тебя.

Вчера мы вернулись с мамой в Прагу – из деревни, где было все время сыро и солнечно, где по сторонам тропинок, на буковых и дубовых стволах, а иногда просто на камнях нама-леваны цветные полоски в виде флажков, указывающие путь в то или иное село. Я заметил также, что крестьяне надевают на своих першеронов красные наушники и жестоко поступают со своими гусями, которых у них очень много: еще при жизни ощипывают им грудь – так что бедный гусь ходит словно в декольте. Часто виделся я с семьей Чириковых (у него две прелестные дочки и сын, который ухаживает за моей младшей сестрой), и мы со стариком придумывали сценарии и гадали, как выйдут наши «карточки» в рижской газете. А накануне моего отъезда Дирекция Западных и Восточных Небес угостила нас чудовищно-прекрасным закатом. Наверху небо было глубоко-голубое – и только на западе стояло громадное облако в виде лилового крыла, раскинувшего оранжевые ребра. Река была розовая, словно в воду капнули портвейна, – и вдоль нее летел экспресс из Праги в Париж. А на самом горизонте, под тем фиолетовым облаком, отороченным оранжевым пухом, полоса неба сияла легкой зеленоватой бирюзой – и в нем таяли огненные островки. Все это напоминало Врубеля, библию, птицу-алькогност <sic>.

Нашла ли ты комнату, милая моя любовь? Не можешь ли ты поселиться просто в моем пансионе – ведь там есть еще комната? Устройся так, чтобы нам было удобно встречаться, – я должен буду тебя видеть сорок восемь часов в сутки, после этой недели безверия (это остроумно?). Я выезжаю в *четверг*, в 9 часов утра – раньше не могу из-за некоторых семейных комбинаций. Ты не сердись на меня, моя любовь, за это запоздание, – не говори «я знала, что так будет...». И если я и в четверг не приеду, можешь считать меня не порядочным человеком и бездарным литератором. Сегодня холодно, моросит, в семь часов утра играл под самыми окнами оркестр цеха мясников – воскресный обычай.

А вчера вечером я читал записки, дневники моего отца и письма его к маме из Крестов, где он просидел три месяца после Выборгского воззвания. Я так живо помню, как он возвратился, как во всех деревнях от станции до нашего имения были устроены арки из хвои и цветов, и толпы мужиков с хлеб-солью обступали коляску, и как я выбежал на дорогу встречать его – бежал и плакал от волнения. И мама была в большой светлой шляпе, а через неделю она и отец уехали в Италию.

Я тебя скоро увижу, мое счастье. Я не думаю, что будут опять такие расставания. Весь этот год прошел как парус, вздутый солнцем, – и теперь ничто не нарушит этой плавности – моего райского скольжения в воздухе счастья... Ты понимаешь каждую мысль мою, и каждый час мой полон твоего присутствия, и весь я – песнь о тебе... Видишь, я говорю с тобой, как царь Соломон.

Но уедем, любовь моя, из Берлина. Это город несчастий и неудач. То, что я встретил тебя именно там, – невероятный промах со стороны неблагоприятной ко мне судьбы. И я со страхом думаю, что придется опять шараться с тобой от моих знакомых, и раздражает меня мысль, что случится неминуемое – и добрые мои друзья поднимут хищную болтовню о самом чудесном, божественном, невыразимом, что есть у меня в жизни. Ты понимаешь, моя любовь?

Моя любовь, о, моя любовь, ничего нет страшного, когда ты со мной, – так что напрасно я пишу это, не правда ли? Все будет хорошо, – да, моя жизнь?

*В.*

**16. 19 января 1925 г.**  
**Берлин (?) – Берлин, Луитпольдштрассе, 13**

Я люблю тебя. Бесконечно и несказанно. Проснулся ночью и вот пишу это. Моя любовь, мое счастье.

Я люблю тебя. Бесконечно  
и несказанно. Проснулся ночью  
и вот пишу это. Моя  
любовь, мое счастье.

**17. Приблизительно март – апрель 1925 г.  
*Берлин – Берлин, Луитпольдштрассе, 13***

Моя милая, милая любовь, моя радость, радуга моя солнечная, я, кажется, съел весь треугольничек сыра, но, правда, я был очень голоден... Но теперь сыт. Сейчас уйду в мягкий свет, в остывающий гул вечера и буду любить тебя и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра, и еще очень много очень даже много завтра.

Ну вот и все, моя нежность, моя прелесть невыразимая.

Да: забыл тебе сказать, что люблю тебя.

*В.*

P.S.

Люблю тебя.

**18. 14 июня 1925 г.**  
***Берлин (?) – Берлин (?)***

Я тебя Люблю  
Я тебя Обожаю очень  
Радость моя  
Любовь моя дорогая.

*Я тебя Люблю*  
*Я тебя Обожаю очень*  
*Радость моя*  
*Любовь моя дорогая.*

**19. 19 августа 1925 г.**  
***Цоппот – Берлин, Нойе Винтерфельдштрассе, 29***

Душенька моя, любовь, любовь, любовь моя, – знаешь ли что, – все счастье мира, роскошь, власть и приключения, все обещания религий, все обаяние природы и даже человеческая слава не стоят двух писем твоих. Была ночь ужаса, страшной тоски, когда я представлял себе, что твое недошедшее письмо, застрявшее на неведомом почтамте, – истребляют, как потерянную больную собачонку... А сегодня оно пришло – и вот мне уже кажется, что в ящике, где оно лежало, в мешке, где оно тряслось, все другие чужие письма прониклись от прикосновения его прелестью твоей единственной и что в этот день все немцы получили непонятные изумительные письма – письма, сошедшие с ума, оттого что они трогали твой почерк. Мысль, что ты существуешь, так божественно-счастлива сама по себе, что смешно говорить о житейской грусти разлуки – недельной, десятидневной, не все ли равно? – раз вся жизнь моя принадлежит тебе. Я просыпаюсь ночью, и я знаю, что ты со мной вместе, – чувствую твои милые длинные ноги, шею твою сквозь волосы, ресницы твои дрожащие – и потом во сне преследует меня такое счастье, такое накапливающее упоение, что просто воздуха не хватает... Я люблю тебя, я люблю тебя, не могу больше, воображение не заменит тебя – приезжай... Я совсем здоров, *великолепно* чувствую себя, приезжай, и мы будем купаться – волны здесь, как дома. В воскресенье мы собираемся вернуться – а вот эти последние дни я должен прожить с тобой, слышишь? И вот еще, знаешь что: мне кажется, что у нас была одна и та же болезнь. Еще в день накануне отъезда у меня все болело внутри – углами как-то – больно было даже смеяться, – а потом здесь начался жар. Теперь я чувствую себя дивно. Боюсь, что здесь, в гостинице, думали, что я просто запил.

Погода прохладная, но дождя нет, Шура купается мало, пишу сегодня С.<офье> А.<дамовне> Право, не знаю, что дальше предпринять. В Баварию, что ли?

Приедешь ли, моя любовь? Выезжай-ка послезавтра (21-го) – два-три дня здесь проведем. Дорога стоит 12 марок, комната 1½ марки (ты ко мне въедешь), обеды и ужины – пустяки.

Кошенька моя, радость моя, как весело я люблю тебя сегодня... Целую тебя – а куда, не скажу, слов таких нет.

*В.*

**20. 27 августа 1925 г.**  
***Фрейбург, отель «Рёмшиер кайзер» – Констанц***

*Фрейбург*

*27–viii–25*

Здравствуй, кошенька, любовь моя дорогая, мы отлично доехали, взбирались сегодня на ближний холм, вечером были в кинематографе. Завтра в 9 ч. едем в Döggingen, будем там в полдень, пообедаем и пешком отправимся в Vol<l>, где переночуем. Оттуда пошлю открытку. Очень весело, Ф.<рейбург> чудесный городок, чем-то похожий на Cambridge. Посередке старый собор цвета сырой земляники, внутри цветные стекла, всякие узоры, райские колеса, а также черная ботфорта на золотом фоне, очень милая, по соседству с личиками святых. Люблю тебя, моя собаченька. Стоим в хорошей гостинице. Люблю тебя, моя К.

**21. 28 августа 1925 г.  
Фрейбург – Констанц**

28–viii–25

Здравствуй, моя душенька, мы сегодня прошли верст 20 (с 1 ч. дня до 8-ми), прошли через Bad-Volkl и теперь ждем на станции Reisingen поезда в Titisee, где проведем завтрашний день. Смуглый вечер, над черными елями летает стая воронья, шурша крыльями. Чудная была прогулка, романтические места. Здесь на скамейке у полустанка темновато писать. Воронья стая каркает, слышен дождевой шелковистый шум, когда они пролетают низко и рассыпаются по елям. Очень это красиво. А ходить было местами грязно, так что я радовался, что надел черные башмаки. Только что переобулся. Светит желтая луна, воронье уселось, умолкло. Люблю тебя, мое счастье, подходит наш поезд.

**22. 29 августа 1925 г.**  
***Титизее – Констанце***

29–viii–25

Здравствуй, собаченька,  
пишу тебе с берега Титизе, где сейчас тянем шоколад со льдом. Переночуем и завтра  
вползем на Фельдберг. Сегодня чудесно купались, лежали на угреве.  
Люблю тебя. Очень.

Здесь мы проезжали<sup>95</sup>.

---

<sup>95</sup> Написано на лицевой стороне открытки, где изображен локомотив, пересекающий известный железнодорожный мост Равеннавиадукт через долину Шварцвальда Холленталь. Внизу типографская подпись: «Холленталь-Бад. Шварцвальд. Равеннавиадукт».

**23. 30 августа 1925 г.**  
***Фельдберг – Констанц***

По дороге сюда, на верхушку Фельдберга, сочинил и про себя повторял маленький стихок: «Не люблю ничевошеньки, кроме одной кошеньки». Погода сыроватая, на проволоках бисер дождя, и меж них кружевные колеса паутин. Вид скрыт туманом. Я люблю тебя.

Здесь переночуем, а завтра двинемся в St. Blasien<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup> Написано на лицевой стороне открытки с изображением пейзажа, под которым стоит типографская подпись: «Цастлерхютте».

**24. 31 августа 1925 г.**  
***Санкт-Блазиен – Констанц***

*31–viii–25*

Шура предлагает назвать эти стихи: что я подумал, гуляя по Шварцвальду и встретив знакомое растенье<sup>97</sup>.

Здраствуй, мое солнце,  
пришли с Фельдберга в милейший St-Blasien. Завтра идем в Wehr и, вероятно, в пятницу будем в Констанце. Перепиши *точно* эти стихи и пошли их в «Руль» с просьбой («мой муж...») напечатать. Изумительно жаркая погода. Люблю тебя.

*В.*

**Вершина<sup>98</sup>**

Люблю я гору в шубе черной  
лесов еловых, потому  
что в темноте чужбины горной  
я ближе к дому моему.

Как не узнать той хвои плотной  
и как с ума мне не сойти  
хотя б от ягоды болотной,  
заголубевшей на пути?

Чем выше темные, сырые  
тропинки вьются, тем ясней  
приметы, с детства дорогие,  
равнины северной моей.

Не так ли мы по склонам рая  
взбираться будем в смертный час,  
все то любимое встречая,  
что в жизни возвышало нас?

*В. Сирин*  
*Schwarzwald*

---

<sup>97</sup> Сначала была написана дата, а две верхние строки письма – вокруг нее; они добавлены уже после того, как был написан текст открытки и стихотворения.

<sup>98</sup> Написано на другой стороне открытки.

**25. 31 августа 1925 г.**  
***Санкт-Блазиен – Констанц,***  
***Нойхаузерштрассе, 14, пансион Цейс***

*31–viii–25*

*St. Blasien*

Здравствуй, моя хорошая,

только что отправил тебе (poste restante) открытку со стихами, а зайдя на почту, нашел, мое счастье, открыточку твою. Черные полусапожки пришлось дать здесь починить, – резиновая подметка отлипла, в серых же я гуляю мало, и они пока что целы. Вообще говоря, путешествие удалось на диво, проходим через упоительные места. Певуч и прелестен на склонах музыкальный ручей коровьих колоколец. Мы истратили до сегодняшней ночи ровно 100 марок (осталось 500). Обожаю тебя.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.